

# ИЗ ЖИТИЯ ПРЕПОДОБНОГО ГРИГОРИЯ

## XV век

Звон плыл тихий, нежный, бархатистый. Будто там на другом, высоком, берегу реки в глубине векового соснового бора таилась звонница, и игумен Григорий, в изнеможении распростёршийся на ворохе опавших жухлых листьев, попытался приподняться, надеясь разглядеть поверх сосен её увенчанный крестом шатёр.

То ли сон, то ли явь...

Рядом зашевелился, зашуршал листьями назвавшийся поповским беспризорным сыном молодец Алексей. Корячась поначалу на четвереньках, он потряс лобастой с прямыми, как солома, жёлтыми волосами башкой, крикнув, вскочил на ноги и, заметив протянутую сухую узкую длань игумена, помог ему встать.

– Слышь, Алекса, звонят!

– Откуда ж! – отозвался парень. – В ушах ежели, с устатку...

Глаза Григория ещё больше запали в глазницы, лицо с редкой седою бородкой осунулось, потемнело. Последние дни почти непрерывного хода тяжело давались игумену, доканывали его. Ещё седмицу тому назад, когда Алекса подкрадывался к его костру, взирая настороженно на согбенную над пляшущими языками огня фигуру, игумен выглядел куда бодрей. На наступившего ненароком на трескучую хворостину парня, которому ничего не оставалось делать, как выйти из укрытия или же задать дёру, глянул остро чёрными угольями глаз: не было в них боязни.

Алекса, пригревшись возле костра тем утром, так и не отставал больше от монаха, стараясь услужить, изодрал в кровь руки

и лицо, одежку в лохмотья, пробивая бреши в густом чапарыжнике, где и звериные-то тропы кончались. А спросить, куда и зачем шёл, побаивался.

Весна запоздалая, в лесу полно воды, по низинам снег не истаял, а тут ещё зазимок шальный хватил, забросал крупными снежными хлопьями.

Всю ночь жались к потухающему костру странники, под утро едва не застыли, только и спаслись, сидя спина к спине. Парень уж подумывал удрать, тем более сухари в котомке инока кончались, и остаточек этот с собою прихватить...

На речном берегу познабливало свежим ветерком, после ивняковых и черемуховых зарослей, вымотавших из путников последние силёшки, дышалось легче, привольнее. Алекса вдруг отпрянул в сторону, с воплем бросился к бочагу, заскакал около, сдёргивая с себя рубаху. Глаза слепило от колышущейся в прозрачной воде серебристой рыбьей чешуи.

– Не допустил Господь до греха! – бормотал парень, излаживая из рубахи подобие большого сака. Прошло немного времени, и первая рыбина, выброшенная на берег, забилась, затрепетала.

Игумен стоял по-прежнему неподвижно на берегу, прикрыв глаза. Не обо всём ещё сказал он парню... Когда слышал тот чудный звон, почти осязаемо разлитый в воздухе, увидел женщину на той стороне, стоящую у крайней к воде сосны, светлу ликом, так что взглянуть на неё было невмочь, как бы ни хотелось. В первый миг показалась она Григорию похожей на матушку. Сердце радостно ворохнулось и забилось, тихий её голос почудился родным, ласковым: «На сем месте храм поставишь во имя моё... чтобы молиться за всех...»

«Пресвятая Богородица!» – осенило игумена. Поражённый видением, он пал на колени и долго, истово молился. Алекса меж тем, раздув теплину, дожидался угольков, приноровляясь жарить вздетые на прутья куски рыбы.

– Останемся тут, – Григорий тяжело поднялся с колен и подошёл к костру. – На том берегу келью попервости ладить зачнём.

Обрадованный Алекса после сытного обеда не поленился разыскать на реке брод, и когда переправились, на том месте, где явилась игумену Пречистая Дева, обнаружился тёмной породы плоский огромный валун. Из него-то, отколупывая резцом мало-помалу (и капля камень точит), принялся Григорий тесать крест.

# ГЛАВА 1. ЛЮБКА – ДЖОН

## Советское время, 70-е годы

Чью-то лодку, запрятанную в кустах ивняка у самой воды, первой заприметила Любка.

– Пацаны! – приказывая, небрежно кивнула она головой с коротко стриженным ёжиком в сторону находки.

Пацаны, лет по восемнадцать, Валька с Сережкой – они и чёрта рогатого своротят – с рёвом лихо поломились напрямки через кусты, и не успела Любка – ростиком метр с кепкой, сухонькая, конопатенькая, в дешёвом джинсовом костюмчике, суший паренёк пареньком – и сигаретку досмолить, как плоскодонка ткнулась носом в берег возле её ног. Любка, выплюнув окурок и цыркнув слюною сквозь обкуренные до черноты зубы, сунула бережно одному из парней сумку с бутылками дешёвой «мазуты», легко впрыгнула в лодку.

Приятели уставились выжидающе на новую знакомую Катю. Та, едва добрались сюда, устало повалилась на берег и полулежала теперь на траве, заголив полные загорелые ноги и завесив красивое, с подпухшими подглазьями лицо спутанными прядями крашенных волос.

– Слабо, краля! – хохотнула Любка.

Катя, вздохнув, поднялась с земли. Гулять так гулять! Парни, робко поддерживая её горячее, обтянутое тоненькой тканью сарафана тело, помогли ей забраться в лодку, примоститься на носу. Серёжка оттолкнулся от берега веслом, и на середине речки просевшую почти до краёв в воду посудину подхватило бойкое течение.

– Мы куда хоть? – спросила Катя у Вальки.

Он пожал плечами, покосился на воротившую в сторону веснушчатый носик Любку: «Поди, и сама командирша не знает!» Любка, видать, вовсе желала от новой знакомой отделаться. Уж на лодчонке-то, гадала, эта бабенция не поплывёт, струсит. И чего в ней пацаны хорошего нашли! Сразу видно птичку по полету, и вдобавок – старуха под тридцать. Но как на неё Валька пялится! И Серёжке, того гляди, ворона в рот залетит!

Дёрнуло же сегодня завалиться за стаканом к Томке!.. У неё, матери-одноночки, в квартирке обычный бардачок. Сама же хозяйка куда-то усвистала, позабыв даже дверь запорить. Друзей-приятелей это обстоятельство ничуть не смутило, благо на столе, заваленном грязной посудой и объедками, обнаружилось всё необходимое. Успели уж захмелеть слегка,

задымили в три трубы – Любка угощала «Нищим в горах», то бишь «Памиром», когда вздумалось Вальке заглянуть в комнатку-боковушку. Заглянул малый и пропал. И Серёга – следом.

Любка сама полюбопытствовала... На кровати разметалась спящая полуголая молодая женщина, парни тормозили её, пытаюсь разбудить. Дама бурчала что-то спросонок, наконец, открыла глаза и, воздев руки, обхватила за шею склонившегося над нею Вальку, притянула его к себе и сочно поцеловала прямо в губы.

– Иди к Катюше... Сладкий какой! Кто ты! – растомлённо прошептала она.

Серёжку в угол комнаты словно пружиной отбросило – как бы его, дикарёнка, тоже не расцеловали чего доброго. Валька в женских объятиях всякое чувство потерял, оцепенел. Любка, презрительно фыркнув, вышла из комнатки, но по сердчишку её неприятно прокарябало, будто острым камушком прошаркнуло. Расстрёпанная, в накинутой кое-как на голые плечи кофточке, постанывая и потирая виски, дама выбралась на свет божий – и тут же пацаны к ней каждый со своим стаканом кинулись спасать.

– Опохмелься, Катюша!

Катюше за столом вскоре стало жарко, неважно, заприсилась она на волю. В погожий летний денек, хотя и близко к вечеру – знойно, в тень бы поскорее сунуться. Поплелись на речку...

Городок на холме давно остался позади, пропал из виду, река петляла между заросшими непролазным ольховником и ивняком берегами, то сужаясь так, что над головами путешественников едва не смыкались ветками кусты, то растекаясь в широкое светлое плёсо. Течение легко тащило лодку, Валька, сменив Серёжку на корме, лишь лениво пошевеливал веслом, пяля на Катю ошалелые глаза. Тихоня Серёга и то подлез к ней с колодой картишек, пытаюсь показать фокус-покус. Катюшка рада-радешенька! Задрала подол, выставила округлые свои коленки и – присушила, зараза, ребят! Любка с досады едва губы зубами не измочалила. Да что б они, два тюфяка, без неё делали! Сидели бы сиднями по домам, не смея вечером высунуть на улицу нос или б комарьё по рыбалкам кормили...

Это она, Любка, научила их винишко попивать, парни покорно канули за своей наперсницей в полуночное шлянье по городку и девок по общагам тискать. Ведь Любку – кто

её не знает – от заправского парнишки не отличить, вся ухваточка мальчишечья. Она и сама не помнит, когда последний раз платье надевала. Почему так – Любке и не ответить. У них в семье детки шли, как грибы после дождя, и все одни девчонки. Старшая Любка, с младых ногтей порученная попечению частенько пьяненького папы, исправно переняла все мужские привычки и пристрастия. Девчушки теперь с насмешками её сторонились, и парни в свою компанию не брали, не ведая, с какого боку к ней подходить.

Любка затосковала было, но тут-то и подросли два двоюродника брата-акробата Валька и Серёга. Любку с обоюдного согласия переименовали в Джона – загадочно и непонятно – и стала она за атамана, отчаянную головушку. Джон вовлекала ребят в такие круговерти приключений, что они про себя забыли – одна бесшабашная подруга была на уме, жди-дождись что завтра вытворит. Любка распивала с ними бутылочку-другую – человек состоятельный, рейки всё ж на пилораме собственноручно грузила – и дальнейшее само катилось-ехало. То набег на чужой огород, а то просто попойка до упаду.

В зимнюю пору, когда мороз не позволял долго шляться по улице, Любка нашла пристанище в женском общежитии ПТУ, где учились на счетоводов молодые инвалиды. По вполне понятным причинам сии обитатели не толклись в городковском клубе или в прочих людных местах, остерегаясь насмешек местных дураков, и Любке не приходилось бояться, что недоброжелатели выдадут её истинный пол. Джон так втерлась в роль кавалера-залёточки, что свои парни чуть не забывали настоящее её имечко, а уж девчонки в общежитии были готовы начать ухажёра делёж. Но Любка обстоятельно выбрала себе сударушку и, уединяясь в тёмных уголках, тискала её и лобызала на тайную потеху себе и братанам. А потом как-то попривязалась к инвалидочке, жалея её, иногда начинала чувствовать себя неловко и пакостно. Но однажды была разоблачена и с позором вышвырнута разъярёнными инвалидками из общежития...

Из узкого, стиснутого берегами, речного русла течение вытолкнуло лодку опять на чистый широкий плёс, и впереди на высоком зелёном взгорке замаячили, забелели развалины церквей, пестрея багряно проломами в стенах.

– Монастырь! – Серёжка завозился с веслом, пытаясь пристать к плотике у берега. – Мы тут с батей сколь рыбы перетаскали! И куда дальше плыть?..

По берегу вилась еле заметная в траве тропка. От деревни у погоста уцелела тройка домов, да и те кособочились под провалившимися крышами, пугающе зияли пустой чернотой оконных глазниц. Тропинка, попетляв по улочке, заросшей бурьяном, уткнулась в загороду, обнесённую толстыми отёсанными жердинами. Маленький ухоженный домишко в ней приветливо поблёскивал окошечками в резных наличниках. Рядом, на лужайке, лепилось с пяток пчелиных ульев.

– Гад тут один живет! – кивнул Серёга в сторону дома. – Буржуй недорезанный! Граф, говорят...

– Хрен с ним! Сядем тут! – опустила сумку Любка.

Предстояло управиться с целой батареей «мазуты», мутной, с радужными разводьями, закупленной на бранные останки любкиного аванса. Вдобавок пить пришлось из одного стакашка. Гуляки не заметили, как стемнело. С реки потянуло холодом, в мокрой траве нестерпимо заныли ноги. Виношко тяжело, дурью, ударило в головы, замутило, завертело в утробах, и все собутыльники, подрагивая, с отрешёнными взорами, стали жаться спина к спине на более-менее сухом от росы бугорке. Набрать возле заброшенных домов хламу и запалить теплинку всем было невмочь, лень. Один тихоня Серёжка, дотянув из бутылки остаток вместе с мерзкими ошмётками на дне, раздухарился – уж больно не давал ему покоя незнакомый остальным обитатель домика за изгородью.

– Он, сволочь, нас с батеи под штраф подвёл, рыбинспектор-доброволец тоже мне! Не одну сеть, падла, изничтожил! – Серёга, не в состоянии перебороть праведный гнев, засипел, завсхлипывал, ещё б чуток и слезу пустил.

– Так вы б ему рога поотшибали! – откликнулась зло Любка, наблюдая за валькиной рукой, воровато подлезавшей Катюхе под платье. – Слабо, дак не вякайте!

– Нам? Слабо?! – вскинулся Серёжка и, поднявшись коекак, болтаясь из стороны в сторону, направился к дому. – Эй, ты там! Трухлявый пенёк! Выходи!

Серёга наклонился, нашарил в траве камешек. Рассыпалось со звоном в окне стекло, все насторожились.

– Дома никого нет! Голик! – обрадованно крикнул Серёга.

Голичок, приставленный к двери, он отопнул и, вжав голову в плечи, нырнул в темноту сеней.

– Поглядим, как гад живет!

Внутри дома прогрохотало – Серёгу, видать, стреножила какая ни есть мебелишка. Через секунду тяжёлый деревянный стул-самоделка, вынесеня начисто раму, вылетел из окна

на улицу. Следом – в полном проёме показалась озверелая серёгина рожа. Раскрутив перед собой вертолётиком лампадку на цепочке и отпустив её, парень торжествующе взорал и опять унырнул в тёмное нутро избы, производя там ужасающий грохот.

Любка и Валька подскочили, как по команде, и понеслись на серёгины вскрики, начисто забыв про спутницу. Кровь бужанила, толклась в голове, кулаки зудели и чесались. Так, бывало, друганы сбегались потрясти в подворотне возле инвалидской общаги припозднившегося гуляку-студента, который после пары тумачков был готов отдать что угодно.

Серёга, ухая, кромсал топором обеденный старинный стол, громоздившийся под образами в переднем углу избы. Любка с порога нацелилась на поблескивающий стеклянными дверцами посудный шкаф, звезданула его что есть силы подвернувшись под руку табуретом и восторженно завизжала под звон осколков. Вскоре в домике из вещей не осталось ничего целого, всё было разбито, растоптано, исковеркано. Любка сняла с божницы иконы и, деловито запихав их в сумку, вынесла на крыльцо.

– Идиоты, попадётся на них, попухнете! – покачала головой, стоя у изгороди, Катя. – И счастья не будет.

Джон сердито зыркнула на неё, но иконы высыпала обратно за порог.

Опять стало скучно. Стемнело, вино допили, озябли. Лишь Серёга никак не мог уgomониться, бродил по задворкам.

– Пацаны! – радостный, выкурнул он из потемок. – Там банька натоплена и вода ещё горячая! Пошли греться!

К бане рванули напрямик через огородишко, но у двери, откуда несло ядрёным запахом берёзового веника, затоптались. Катька вдруг звонко, озорно рассмеялась и, оглядев малость подрастерявшуюся компанию, сдернула через голову сарафан. На приступке напротив двери она рассталась со всей остальной одежкой и, призывно махнув рукой обалдевшим ребятам, исчезла в жаром пыхнувшей, чёрной утробе бани.

– Да идите же сюда, вахлаки! Веничком попарьте, страсть люблю!

Валька и Серёга, озираясь друг на друга, путаясь в штанинах, кое-как разделись и, прикрываясь ладошками, как на медкомиссии в военкомате, нерешительно пролезли в баню. Катьку в кромешной тьме было не видно, ребята скорее угадали, где она есть. Пробрякала крышкой котла, зачерпывая воду, шваркнула ковшик на ещё не остывшую каменку. Пар заурчал,

жгучей волной ударил по банщикам. Они тут же все трое, пригибаясь, сбились в исходящую потом кучу.

– На-ко, постегай! – Катька сунула в руки Вальке веник.

Парень молотил им от всей души то ли по каткиной, то ли по серёжкиной спине – не разобрать, но когда стало казаться, что грудь вот-вот разорвется от нестерпимого жара, как спасение раздался около уха каткин голос:

– В реку бы, мальчики! Айда!

Любку, скукожившуюся в своем джинсовом костюмчике на приступке у банной двери и клацающую от холода зубами, парильщики едва не пришибли дверным полотном. Поднявшись с земли, она долго ещё посылала вслед удалявшимся в сторону реки трём белым фигурам, отчётливо видимым при свете выкатившегося из-за облака месяца, смачные матюги, потом, заслышав бульканье на речном плёсе, истошный каткин визг и довольный гогот парней, отвернулась и уткнулась лбом в стену, жалобно и беспомощно захныкав, как обиженный ребёнок. А вопли, визг, хохот разносились по ночной реке, дробились, рассыпались отголосками в мрачных монастырских развалинах. И на все пялились угрюмо пустые чёрные глазницы разорённого дома.

## ИЗ ЖИТИЯ ПРЕПОДОБНОГО ГРИГОРИЯ

Камень трудно поддавался зубилу, сыпал искрами, отлетевший далеко мелкий осколок рассёк игумену бровь, чудом в глаз не угодив. Григорий, оставив свою работу – явно уже наметившийся остов креста, приложил к ранке тряпицу, пытаясь унять кровь. Дело всё же с молитвою и божьим упованием да двигалось. Между молитвами было время и поразмыслить о житейбытье, вспомнить молодость.

...Младенец тогда княжеский едва не захлебнулся в купели: у крестившего его Григория в груди захолонуло. Родившийся прежде времени княжич и так чуть дышал, сморщенное его личико было не розовым, а иссиня бледным, и, хлебнув воды, он вовсе посинел. Его б крестить в жарко натопленной домово́й церкви, а не под высокими холодными сводами главного городского собора. Но пожелал так отец – князь Галичский и Звенигородский Юрий, младший сын Димитрия Донского. Стоял рядом с Григорием, по-медвежьи грузный, через всё лицо – нитка старого шрама, лохматая борода в разлапинах ранней проседи. Глядел он сурово, исподлобья.

Велика честь крестить княжого сына, входить в покои без доклада, любому твоему слову князь внимает! Такой чести



батюшка покойный не ведал, хотя и боярином верным был... Эх, велика честь, велика!..

Взгляд Юрия из торжественно-безучастного стал тревожным, косматые брови вовсе насупились. Слава Богу, младенец захекал, задышал, сердчишко в его тельце затеплилось, заколотилось отчаянно, и Григорий торопливо сунул крестника в тёплые сухие полотна в руках княгини и мамок. Ладанка-дощечка с закапанными воском волосиками младенца было закрутилась на месте, пущенная в купель, но не утонула, поплыла. Княжича нарекли Димитрием.

«Вот шемякнул-то его игумен, еле не захлебался...» – ехидно подначил кто-то из соборных служек. С младых лет и закрепилось за ним прозвище – Шемяка.

На княжьем пиру Григорий не задержался, чуть пригубил из кубка мёда, благословил вставшего поспешно вслед за ним князя и сел в монастырский возок. Лошадь, подгоняемая послушником, миновав городские ворота, проворно потащила его по наезженной колее через поле к чернеющим вдалеке маковкам церковей монастыря. Лишь за вечерней службой, внимая братскому хору, потом в келье, стоя на коленях перед образами и вглядываясь в мерцающий огонёк неугасимой лампы, Григорий почувствовал успокоение. И видел себя болезненным отроком, вот так же стоявшим на коленях в домовой церкви перед иконой Спаса Нерукотворного, боялся заглянуть в тёмные бездонные зрачки и всё больше сжимался, облизывая солёную влагу на губах. Господи, помоги, как быть-то!..

Отец, боярин Лопотов, задумал женить пятнадцатилетнего сына. Времечко охо-хо-хо лихое, подтатарское, от единственного чада потомства бы дожидаться поскорей, мало ли чего – и всё добро прахом. Да вот беда – боярчонок на девок не заглядывается. Ему бы в молодшую княжью дружину, меч учиться твёрдо в руках держать, а его при первой же пустячной потасовке промеж собою отроки из седла выбили, после ушибов да перепугу еле с ним потом отводились. Князь поморщился: худой воин. И верно, по богомольям бы только Гришаньке таскаться, колокольный звон, раскрывши от восторга рот, слушать.

– Тятенька, а как же я Бога любить буду, коли мне и жену надо будет любить? – спросил и уставился немигающе на отца голубыми ясными глазами.

Боярин отвёл взгляд: ничего, женим – посмотрим. Невестушка была давно у него на примете. Дочка друга молодости, воеводы князя московского Василия Дмитриевича. Со сватами и сами всем семейством и челядью надумали ехать...

# ГЛАВА 2. ГОРОДОК

## Начало 80-х XX века

Валька Сатюков вернулся из армии в свой городок и не узнал его. Черноголовые смуглолицые парни целыми ватагами нагло, никому не уступая дороги, пёрли по центральной улочке, и городишко походил на южный курорт.

Откуда Вальке и землякам его было ведать, что кто-то самый упёртый в областном руководстве, мечтая одним махом ликвидировать нехватку кадров специалистов в совхозах и колхозах, затеял эксперимент. Шустрые полуголодные эмиссары-преподаватели из городковского полупустого сельхозтехникума немедленно десантировались в поднебесные аулы где-то в кавказских горах и вскоре привезли с собой «улов», от которого взвыли впоследствии не только они сами, но и весь городок, а в районе и в области ответственные товарищи за черепушки схватились.

Попервости местная пацанва пыталась организовать сопротивление иноземцам, однако, разрозненные, извечно, с отцов и дедов, враждовавшие между собой группки аборигенов с разных городковских концов оказались смяты и с позором ушли в «подполье». Пока налетевшая в мгновение ока, словно саранча, орава кавказцев тузила одних, другие топтались поодаль и посмеивались, хлопая ушами.

Разгорячённая южная кровь до рассвета гоняла гомонящие толпы взад-вперёд по центральной улице, и если попадался им на пути подпитой мужичонка или парень, то без хороших тумачков не уносил ноги. Побывавшие единожды в переделке жители, пересекая за какой-либо нуждой «централку», припасали на всякий пожарный берёзовое полено или увесистый кол. В боковые улочки и переулки пришельцы, как истинные оккупанты, не совались, опасаясь партизанской борьбы.

Обосновались они и в Доме культуры, бывшем соборе, обезображенном и опоганенном. И местный вокально-инструментальный ансамбль на танцах через раз наяривал «лезгинку». Кавказцы вставали в широкий круг, оттесняя в углы зала кучки девок и безропотных отчаявшихся зайти сюда пацанов. В круг выскакивала пара самых шустрых и откалывала коленца. Танцоры менялись; пьяненькие девчонки, пробравшись в круг, тоже пытались неумело сучить и топтать ножками, но после взрыва хохота были выбрасываемы вон. Одну такую кралечку не шибко вежливо облапил запыхавшийся танцор, потащил к выходу, где

и столкнулся с глазевшим ошеломлённо на всё происходившее Валькой. Сатюков, нехотя посторонившись, буркнул словцо, посмотрев с презрением на девчонку.

– Заткнись, дурак! – та вцепилась крепче в рукав кавалеру, но было поздно.

Кавалер, словно инопланетянин, издал тревожный гортанный звук, и мгновенно набежавшие его собратья стайей голодных дворняг вцепились в Вальку. Он прикрылся локтями от посыпавшихся ударов; его оттеснили в сторону от входа, утащили в скверик около и там уж принялись по-настоящему отводить душеньку. Прогуливавшиеся зеваки, охмурённые первомайской погодкой, косились с любопытством и опаской в сторону трещавших в сквере кустов и старались поскорее прошмыгнуть мимо. Лишь Лаврушка Кукушонок отважно сунулся в сумрак сада: «Вы чё, ребята?! Опупели?» Получил по лбу и, преследуемый тройкой «черкесов», сделал ноги. Да разве слышишь его: лёгкое тельце Кукушонка воробушком порхнуло над ближайшим забором.

От Вальки отхлынули так же разом и скопом, как и налетели. Харкая кровью, Сатюков долго ещё корячился на четвереньках под кустами; у него хватило силёнок выползти на смежную со сквером глухую улочку. Здесь и споткнулся об парня, лежавшего врастяжку поперек тропинки, кто-то.

– Юнец, а напился в стельку. Молодёжь!

– Погоди, не бухти понапрасну! Ишь, как его извозили!

Вальку подняли и усадили на землю два мужика, в темноте не разглядеть – чьи, да и голоса их до валькиного слуха доносились, будто сквозь вату – по ушам, что ли, так те гады-обидчики повешали. Сатюков не дёргался, когда его повели под руки куда-то: главное – свои, родные, русские, он уж слезу готов был пустить. Очутившись в избе, заваленной едва не до потолка железным заржавленным хламом, при тусклом свете лампочки Валька узнал одного из своих спасителей – Сашку Дорофеева, по прозвищу Бешен. А другой, приволокший таз с холодёнкой, – Ваня Дурило, юродивый! Вот так компания, два известных в городке дурака...

Сашка окончил в городке школу с золотой медалью, потом – один за другим – два института, осел в Питере важной шишкой в каком-то конструкторском бюро, но вышла загвоздка: загуляла красавица-жена. Кончилось разводом, квартиру сразу разменять не удалось. Бывшая супружница без зазрения совести приводила любовника, спала с ним. А Сашка сгорал от ревности за тоненькой стенкой в соседней комнате. Жену-то он любил!

И у него тогда, ночь за ночью, потихонечку съехала «крыша»... Так болтали в городке, когда Дорофеев со «справкой» возвернулся к старушке матери и, потыкавшись туда сюда, притулился разнорабочим в конторе по благоустройству. Он исправно махал метлой, подметая тротуары, лазил с ножовкой по деревьям в парке, опиливая сучья, высаживал на клумбах цветочки и даже в подручные к главному городскому ассенизатору Федору Клюхе иногда попадал.

Все, что его ни заставляли, Сашка выполнял безропотно, только порою на него находило: выкатив испещренные красными прожилками белки глаз, он начинал торопливо лопотать что-то, непонятное и загадочное для порядком струхнувшего невольного слушателя, которому вцеплялся в рукав. Гражданин убегал; Сашка нёсся следом. Огненно-рыжий, с обросшим густой щетиной лицом, в потрёпанной, одной и для гулянки и для работы одежде, мчался он, едва не бороздя землю длинным носом, и не приведи Господь, если натыкался опять на кого. Тот несчастный, даже и не робкого десятка, только что не напускал в штаны, столкнувшись с его отрешённым, диким взглядом. Бешен, да и только!

Валька с двоюродником Серёгой подрядились как-то пилить дрова у одной бабки. Напросился в подмогу Лаврушка Кукушонок, шкет двенадцати лет от роду. Проку мало, но да за ручку пилы дёргать сможет. Бабка разочлась, денег хватило аккурат на «магарыч», и расправляться с ним парни забрались на чердак сарая соседнего с сатюковским дома, где хозяйева отлучились в гости. Валька спёр из дому полбуханки чёрного хлеба, лучок и редиску позаимствовали на грядках у соседа. Кукушонок от предложенной шутливо стопки не отказался, и парни – скоро в армию – изумлённо наблюдали, как Лаврушка, птенец желторотый, набрав побольше воздуха и выдохнув, лихо опрокинул угощение. Глаза у мальчугана вылезли на лоб, но прочухался он скоро, уткнувшись носом в хлебную корку.

– У меня навык имеется, после мамки завсегда выпивон остается, – набив полный рот перьями лука, редиской, хлебом, умудрялся при этом бурчать Кукушонок. – Жрать не найдёшь, а бухнуть завсегда есть. Отец денег мне прислал на ботинки, так она винаща накупила.

Кукушонок пошевелил пальцами босых, грязных ног. Когда стемнело, парни намерились прошвырнуться по огородам, пошибать недозрелых яблок. В ближайших садиках оказалось пусто, оставался крайний в квартале огород – Сашки Дорофеева. К этому времени захмелевший изрядно Лаврушка совсем

скис, пришлось его тащить на себе. Яблонек в сашкином дворе не отыскалось вовсе, обескураженные пустой тратой времени ребята принялись перетаскивать бесчувственного Кукушонка через высокий забор на улицу. Могли бы перекинуть да побоялись зашибить заморыша. Серёжка, чертыхаясь, преодолел препятствие, оставив на гвозде клочок из штанов. Приготовился принять Лаврушку на той стороне, но малый, наброшенный на верх забора, застрял, зацепившись пояском за заострённые концы досок. Серёга потянул Кукушонка за руки, Валька стал подталкивать за пятки, забор затрещал... Хлопнула дверь на высоком крыльце, луч фонарика бестолково заметался по огороду.

– Враги! Тревога! К оружию! – заблажил Сашка.

Серёжка рванул от забора вдоль по улице, Вальке ничего не оставалось делать, как залечь промеж картофельных борозек. Кукушонок же свалился в подзаборную траву. Сашка, сбегав с крыльца, погнался за Серёгой – топот его ног, обутого в кирзачи, разносился далеко окрест. Тускло, робко зажглись уличные фонари. Дорофеев вернулся запыхавшийся, что-то возбуждённо лопоча под нос. В правой сашкиной руке блеснул лезвием топор. Валька, трусясь как заяц, плотнее прижался к земле. Он долго лежал, не шевелясь, продрог весь, хотя и слышал, как скрипнула дверь за Сашкой, проскрежетал задвижку засов. Пригибаясь, чуть ли не ползком Валька пробрался к забору и как сиганул через него – не заметил!

У родимого дома к Сатюкову метнулась тень. Серёга! Двоюродники жадно досмолили прибережённый чинарик, собрались разбежаться по лежанкам, но... надумали Кукушонка поискать: беспокойно было на душе. Только решили идти, когда рассветет, в темноте-то боязно, вдруг Сашка где-нибудь подкарауливает. Кукушонок дрых себе, свернувшись калачиком в траве под забором, а рядом на песчаной проплешине на тропе отпечатался след сашкиного сапога. Шагни бы Бешен чуток в сторону...

Теперь вот Валька – ни жив ни мёртв – сидел на табуретке, приваленный спиной к стене в доме Бешена, и сам хозяин пристально разглядывал его, комкая в руках белую тряпицу. Мужики принялись врачевать ссадины на валькином лице – всё ж потом поменьше мамкиных ахов и охов будет.

– Бьют-то слабо, не по-русски, – проворчал Ваня Дурило, оставляя в покое Вальку и раздирая пятернёй на груди густую шерсть, где запутался, поблескивая, большой медный крест.

## ИЗ ЖИТИЯ ПРЕПОДОБНОГО ГРИГОРИЯ

На узком волоку, сдавленном с обеих сторон дремучим лесом, на сватов накиннулись ратные люди.

– Татары! – заполошно завопил кто-то из передних холопьев, увидев преградивших путь всадников в лисьих малахаях, и тут же, пронзённый стрелами, грянулся оземь.

Татары ещё посшибали кое-кого из луков, но сами стояли, скалились и, щуря усмешливо узкие глаза, в сечу не лезли. Рубились свои, русские, жестоко, нещадно. Прильнувшего испуганно к возку, где причитали сенные девки и матушка, Григория рывком оторвал спешившийся с коня отец.

– В седло! Скачи, авось Господь смилуется, и жив останешься!

Только помог боярин сыну влезть на коня, как метнулся к ним из гущи дерущихся русоволосый молодец, занеся над головою меч. Но отец упредил: боевой топор рассёк воздух и вцепился лихоимцу острием промеж наглых голубых глаз – кровь забрызгала одежду на Григории и белый круп коня.

– Гони обратно! – крикнул отец оцепеневшему в седле сыну и взмахнул плетью.

Кто-то из засады бросился ухватить коня под уздцы, да куда там! Обожжённый и оскорблённый болью жеребец – подарок князя – яростно оскалился, и охотник отлетел прочь. Тонко запели стрелы, одна больно чиркнула Григория по плечу, он ещё плотнее прижался к конской гриве. Крики, топот позади отстали, стихли. Жеребец нёс и нёс... На подворье холопы словили коня, у оклемавшегося отрока допытались, что да как, какое лихо настигло. Князь Юрий снарядил на место засады гридней, но те вернулись вскоре, и следом за их конным кольчужным строем выскрипывали телеги с голыми изрубленными телами, закинутыми попонами. Никого не пощадили лихоимцы. Горько плакал над гробом родителей Григорий, а после печальной тризны, никем не замеченный, убрёл пешком в монастырь и пал в ноги седому архимандриту.

– Прими в обитель, отче... Пострига желаю.

Старец неспешно благословил отрока, подставил для поцелуя высохшую, пропахшую ладаном длань.

– Знаю, тяжко тебе в горе, боярин, но укроешься ли от него в наших стенах? От себя-то ведь не схоронишься. Не подумавши, не будешь ли потом каяться?

– Отче, я Господа с младых лет возлюбил... Молился, чтоб наставил на путь служения ему. И вот... Не чаял, что так будет, видно, время моё пришло.

– Ладно, сыне, – смягчился архимандрит; суровые глаза его под низко надвинутым клобуком посветлели. – Будь послушником, испытаем тебя.

От монастырских ворот бежал, торопился к Григорию запыхавшийся управитель имения. Отвесил поясной поклон:

– Хозяин...

– Слушай наказ мой! Имение своё раздаю всем нуждающимся в память о батюшке с матушкой. Рабам – волю. А сам, раб Божий, здесь остаюсь, – Григорий, оставив ошеломлённого управителя, повернулся и посмотрел туда, где над входом в храм яро сияла ризою в лучах клонившегося к закату солнца икона Пресвятой Богородицы с Предвечным Младенцем на руках.

## ГЛАВА 3. ВАЛЬКИНА СУББОТА

### 80-е годы века XX-го

Валька, после того как его извозили в саду, тоже ушёл в «подпольщики». Обосновался он в бабкиной заброшенной хибарке на задворках родительского дома. Сюда стали иногда забредать бывшие одноклассники, как и Сатюков, потрёпанные в уличных потасовках. Вечером после стакана «бормотухи» все ощущали себя героями; стоял гвалт, румяные красивые мальчики спорили, клялись, хвастались, а во главе стола восседал и сиял довольный Валька. Его «предки», заходя с проверкой, захлёбывались в плотном табачном тумане и, проморгавшись, слегка успокаивались, видя одни и те же лица.

«Посидят, попьют. Перебесятся. Чем бы дитя ни тешилось... И с «кавказцами» драться, глядишь, не бегают. Хоть так да убегутся. А чадо родное, мотавшее армейские сопли на кулак, пускай отдохнёт, развеется малость...»

Дверь Валька, когда уходил, подпирал лишь батожком: воровать в хибаре было нечего, да и друзья-приятели просили не вешать замок – мало ли кому с подружкой забежать приспичит. Потому, возвращаясь однажды с гулянки и заметив приоткрытую дверь, Валька постеснялся сразу вломиться, прошёл осторожно в комнату, выразительно прокашлялся и врубил свет. На диване за заборкой кто-то спал, укрытый серым потасканным пальто: из-под ворота выбивались космы крашенных каштановых волос. Сатюков заметил на столе листок бумаги с крупными,

вкривь и вкось нацарапанными карандашом буквами: «Извините, что сплю здесь. Больше негде». Он на цыпочках подкрался к дивану и отвернул ворот пальто. Женщина проснулась и, вскинув руки, прижала к себе обалдевшего Вальку.

– Ка-а-а-а! – только и прошептал он.

От Катьки пахло и дешёвыми духами, и винцом, и ещё чем-то таким, отчего валькина голова безнадёжно закружилась.

Умаявшийся, он лежал под утро, прижимаясь к голой, пышущей жаром, словно от печки, катькиной спине, и верил и не верил. Про ту баньку памятную и купание в реке возле монастырских развалин Сатюков не раз хвастал ребятам в армии; те гоготали, принимая это за небылицу, и самому Вальке уж вспоминалось то вскоре как сон, жутковатый и сладкий... Катька повернулась и опять обняла крепко Вальку. Не сон, значит, привиделся!

– Долгие проводы – лишние слезы! – подёрнутая от холода в избушке гусиной кожей, Катька одевалась быстро под немигающим Валькиным взором. – Скажи спасибо подружке Томке. Убрела куда-то шалава шляться, а мне хоть на крыльце ночуй. Накануне про тебя, твой домик рассказывала, адресочек-то и проронила. Приехать снова в субботу, маленький? – Катька подошла, легонько щёлкнула Вальку по носу.

Тот хотел соскочить с дивана и обнять её, но застеснялся, поджимая ноги под куртку.

## ИЗ ЖИТИЯ ПРЕПОДОБНОГО ГРИГОРИЯ

На тезоименитство игумена Григория приехал в монастырь сам князь Юрий со многой дворней и боярами. После благодарственного молебна в главном монастырском храме – народу не протолкнуться – стоявшего в царских воротах с крестом в руке именинника поздравляли. От братии глаголил слово келарь Паисий. Огромный живот его обтягивал, треща, подрысник, раскосые глаза хитрющие: попробуй разбери, что в них таится.

– Ты, брате Григорие, в своем благочестивом житии яко свешник над нами, многогрешными, воссиял. Все мы сырые чуем это благоприятное тепло, от тебя исходящее. Так дозвожь нам, убогим, в нём погреться, – келарь плёл и плёл витиеватые словеса, как паук тенета. Сам он был далеко не равноангельского поведения: и бражничать любил, чревоугодничать, средь братии склоки затевать охотник, и наушничать князю и духовному начальству горазд. Собирался ему игумен дать окорот. И из боязни, от зависти, а не от сердца, старался Паисий. Зыркнул



напоследок – со свету бы сжил, а заключил елейно, тотчас замаслив глазки:

– Ведомо, кому много дадено, с того и много спросится...

Подошёл ко кресту и пожелал доброго здравия князь Юрий с подростшим крестником григориевым Димитрием, потянулись чередой ближние и дальние лопотовские родичи – как же, лестно! Вскоре от здравиц звенело у игумена в ушах, ворох поздних осенних цветов занимал в алтаре целый угол, иные из груды сложенных тут же подарков сияли золотом и камнями. Отпрянул от всей этой канители Григорий опять-таки только в келье за вечерней молитвой. Вспомнилось, как был просто послушником...

Для изнеженного боярского дитяти все было поначалу в тягость – недаром архимандрит и не хотел его принимать в обитель. Но стерпелось, а где и слюбилось с упованием на Господа. Незнающему да неразумющему монашеская жизнь блазнится сытой и безмятежной. Григорий же не помнил, уж сколько дров переколол, воды перетаскал, пахал и сеял, и сенокосничал. А после трудов земных, суетных вставал с братией на труд духовный – молитву. И здесь, устремляясь душою и сердцем к Богу, забывал об усталости, скорбях телесных. Выдавалось времечко свободное – влекли послушника рукописные книги из монастырского древлехранилища. Приняв монашеский постриг, Григорий с остриженными упавшими власами навсегда отрекся от мира: инок – значит иной...

Отходящий на суд Божий архимандрит напутствовал его, прерывистый голос старца был едва слышен:

– Не ошибся я в тебе... Помни и бегай от трёх зол: злата, почести и славы. Храни тя Господь!

Григорий, плачущий, приложился устами к холодеющей руке.

В новые настоятели монастыря рвался Паисий, но братия мудро рассудила: выбрали самого кроткого и смиренного. И князь Юрий, наслышанный о молитвенности Григория, уме незаурядном, заложил перед правящим архиереем нужное словцо... Не хотел, не желал этого Григорий – ни суетности служебной, ни высоких почестей, ни навязчивой ласки родни, а единения с Богом, суровой постнической жизни жаждала его душа. Невозможно смотреть одним оком на землю, а иным на небо!

«Помоги, Господи! Вразуми раба твоего!..» – молился он дено и ночью.

# ГЛАВА 4. ЮРОДИВЫЕ И ЗЕРЦАЛОВ

## Те же советские годы

Со своим «спасителем» Сашкой Бешеном Валька встретился вскоре опять. Бежал мимо дорофеевского дома и – глядь! – Ваня Дурило на крыльце стоит и не просто на настиле или на ступеньках, а залез на столбик, к которому когда-то крепилась перильца, и, выстаивая на одной ноге, размахивая руками, кричит заливисто петухом. Разинувшего рот Вальку едва не сшиб с ног выскочивший из ворот рассерженный участковый.

– С дураков какой спрос! – пробурчал он, окинув парня неприязненным и в то же время смущённым взглядом.

А с крыльца неслось:

– Ки-ка-ре-ку! Ура, дурдом! Кругом – дурдом! Вся жизнь – дурдом! Ки-ка-ре-ку!

Выглянул из-за калитки Бешен, заметив Сатюкова, поманил его пальцем. Валька, сторожко косясь на по-прежнему торчащего на одной ноге на столбике оборванца, поднялся вслед за Сашкой по скрипучим ступенькам крыльца. В горнице на непокрытом столе стояла кой-какая посуда, была разложена немудрёная закуска. На табуретке сидел зачуханный смердящий старикашка Веня Свисточек и, вздёргивая по-птичьи головёнкой с реденькими белыми волосиками, поглядывал на вошедших невинными, на удивление чистыми глазами. Позади Вальки и хозяина с криком захлопнул дверь соскочивший со своего наместа придурочный Ваня.

Сатюков, присев на краешек лавки, чувствовал себя неуютно и неловко. Свисточек, всё так же невинной выцветшей лазурью глаз пялясь на него, натренированным до автоматизма движением выкинул перед собой ладонку и, расщеперив корявые грязные пальцы, затряс ею перед валькиным носом: «Гони копеечку!» Валька и тут чуть было не полез в карман за мелочью, как тогда, ещё до армии, в Ильин день – храмов праздник, когда пошли с Серёжкой поглазеть на крестный ход.

Опасно: в школе как бы не влетело, но зато спокойно – среди бела дня, не в пасхальную ночь, когда через ментовское оцепление прорываться надо. Проникнуть внутрь храма братаны не решились, остались дожидаться действия, поджимаясь к кирпичам церковной ограды. От скучающих на паперти нищих отделился босой, заросший свалевшимся волосом мужик, сильно прихрамывая, приблизился к ребятам и, закатив дурашливо

глаза, двумя сложенными пальцами принялся молотить себя по губам.

– Дядя, да-дай ку-ку...

Ваньку Дурило ребята знали – известная в городке личность, но уstraшенные его идиотским видом, отошли от дурака на всякий случай подальше и в узком проёме калитки столкнулись с другим убогим, вернее, чуть не затоптали его, сидящего меж положенных поперек дорожки костылей. Белобрысенький, он завохтал, захрюкал потревоженно, а когда протянутую ладонку ему не позолотили, сердито засопел, вытолкнул сквозь зубы довольно внятно крепкое словцо. Вздохнул ударил колокол. Из церковных врат потекла толпа богомольцев, качнулись, заблистали над нею крест, хоругви.

– Гляди! Поп!

Парни повисли на ограде, цепляясь руками за железные пики её наверхия. Крестный ход с пением двинулся вокруг храма, и Валька с Серёжкой намерились перебежать на другую сторону, чтобы поглазеть, как богомольцы будут возвращаться. И столкнулись за угловой башенкой ограды опять с убогими. Те поначалу ребят не заметили.

– Скупой народ пошёл! – сетовал Дурило белобрысенькому вполне нормальным голосом. – Закурить даже никто не дал.

– Угощайся! – белобрысый, подойдя к нему от прислоненных аккуратно к ограде костылей, протянул пачку сигарет. Закурили.

– Как нынче посбиралось-то?

Белобрысый молча хлопнул ладонью по оттопыренному карману; глаза убогого светились радостно и довольно.

– Есть в тебе чтой-то от настоящего дурака, вот и подают хорошо, – позавидовал Ваня. – А мне мало, как ни стараюсь. Хоть и Дурилом прозвали.

– Так ты дурило и есть.

Тут нищие заметили подглядывающих за ними парней.

– Чё вылупились-то? Хи-хи! – Ваня вдруг закатил глаза и, расставив широко руки, будто собрался ловить, пошёл, приплясывая, на струхнувших ребят.

Белобрысый, достав милицейский свисток, залился трелью, захохотал и, подхватив костыли, заподпрыгивал на них прочь...

И вот не думал, не гадал Валька, что придётся ему сидеть в гостях у Сашки Бешена между двумя столь досточтимыми людьми. До первой стопочки и кашлянуть побаивался. Выпил – осмелел. У убогих в башках скоро «зашаяло»: что-то быстро-быстро, но непонятно залопотал сам с собою Веня Свисточек, а Дурило заблажил. Заорал про «золотые» горы.

– Я – философ! – резко оборвав завывания, заявил он. – Божеских наук. Втолковываю тёмным людишкам у церкви, что да как, лишь бы деньгу давали. Хоть и четыре класса у меня, – расхвастался вконец.

– Веня, ты у нас тогда профессор с одним-то классом! – весело крикнул Бешен.

– Читать умею, – подтвердил Свисточек и опрокинул стакашек.

– Выходит, я академик, с двумя-то высшими!

Проскрипела незапертая дверь, и вошла маленькая, закутанная в чёрный платок старушка; блеснули стёклышки очков на носу.

– Опять пируете? – перекрестившись на киот с иконами в переднем углу, строго спросила она. – Санко, сколько же тебе говорить, чтоб не путался с этими шаромыжниками! Ты – человек ученой! Да и вы-то чё пристали к мужику? Эко, ровно поросята, в Троицы-то день!

Веня в ответ зычно икнул, невинные глазки его замутились, и он кулем рухнул под стол. Ваня закудахтал было, но старушка оборвала его:

– Полно, дураково поле!.. Выпроводил бы ты их, Санушко, пока мамкино добро с ними не спустил!

– Не могу, Анна Семеновна! Они мои братья во Христе!

Старушка вздохнула, дескать, что с тебя, простяги, взять, и тут же ойкнула, приложив ладошку к губам:

– Забыла... Василия Ефимовича проводывал? Нет? Эх, ты...

– Сейчас же, немедленно! – засобирался Сашка. – Кто ещё со мной?

Дурило сонно зевнул и со стуком уронил голову на стол.

– Запрём их. Пусть дрыхнут...

На улице смеркалось. Двухэтажный тёмный дом с чуть заметными бликами света из-под занавеси в окне верхнего этажа оказался Вальке по пути. Сатюков побрёл бы и дальше своей дорогой, но Бешен придержал его:

– Зайдём!

– Расскажешь потом, Санко, как он там! Мне-то на скандал не след нарываться, – старушка попрощалась и ушла.

Сашка стучался долго; наконец, где-то вверху скрипнула дверь, дребезжащий старческий голос спросил: «Кто там?» Бешен назвалса. Зашлёпали по лестнице шаги, при свете керосиновой лампы открывший дверь старик выглядел пугающе: трясущаяся плешивая голова, на усохшем личике густели тени. Сашка помог хозяину, поддерживая под локоть, подняться

обратно в лестницу, и в светлой уютной комнатке Валька по-настоящему разглядел его. Сатюков думал, что давным-давно старикан этот помер. Ведь Валька ещё совсем сопливым пацаном был, когда на городковской танцплощадке, не «оснащённой» ещё ни гитарным бряком, ни заполошным барабанным воем, ни вытьём и ором местных дарований, простецкая советская радиола исправно в субботние и воскресные вечера раскручивала свой диск – и любую пластиночку ставили на утеху публике.

А что за публика собиралась! В меньшинстве – на площадке, в большинстве – около. За высоким, обтянутым металлической сеткой барьером, будто в скотском загоне, на дощатом помосте в одном углу толклись парнишки-малолетки, в другом – их ровесницы. Было рановато – и радиолу в крашеной будке запускали время от времени. Мальчишки и девчонки суетливо дёргались, толкая локтями друг дружку. Молодёжь повзрослей, посолидней подходила в сумерки. Тут и репродуктор, подвешенный на дереве, верещал не умолкая, и пол ходил ходуном под ногами рвущихся, грозясь обломиться. Стволы столетних лип с корою, изрезанной ножичками и прочей колющей штуковиной, обступавших танцплощадку, подпирали могучими плечами подвыпившие застарелые холостяки; меж ними, яростно отбиваясь от комарья, выглядывали своих чадушек, скачущих за барьером, мамыши. У их подолов путался зелёный ребячий подрост, норовя в удобный момент перешмыгнуть через сетку. В потёмках в глубине парка вспыхивали потасовки, кто-то кого-то с улюлюканьем гонял, кто-то ревел ушибленным телком. Люд же, самый разношёрстный, прибывал и прибывал, словно осы гнездо облепляя барьер танцплощадки...

После современной лёгкой музычки из раскалённого колпака репродуктора плавно плыли звуки старинного вальса. Распаренная толпа уморившихся танцоров, отпыхиваясь, сваливала к лавочкам посидеть, если хватало места, а в освободившийся круг неторопливо входил невысокий плотный старичок. Полувоенный френч ловко обтягивал его сутуловатую фигуру, на ногах поблескивали скрипучие хромачи. Аккуратный пробор седых волос, подкрученные вверх усы. Старик выбирал «даму», слегка склоняясь к ней, приглашал на танец. Девка млела, не смея отказать, и осрамиться побаивалась, но, наконец, соглашалась. Кавалер легко вёл её, откинув немного назад красивую голову, лихо кружил, и самая неумелая деваха входила с ним в раж, забывала про свои «ходули» – на удивление, ступали они как надо, и вертелось, плыло всё у девчонки перед глазами – хоро-

шо-то как! Старик, словно двадцатилетний, падал на одно колено и стремительно, под восхищённое аханье зевак, обводил даму вокруг себя. Набегали другие пары, в основном девчонки, суматошно кружились кто как умел, а над парком затихали последние аккорды «Дунайских волн»...

Нет, старичок Зерцалов был теперь не такой шустрый и бойкий. С бескровным лицом с коричневыми пятнами на лбу и на щеках, с заплывающими в мутной мокроте беспомощно глядевшими глазами, но по-прежнему в наброшенном на плечи френче, он шаркал в тапках по горнице. При слабом свете настольной лампы в простенках между окнами, прикрытыми шторами, виднелись какие-то картины в массивных, украшенных резьбой рамах, передний угол занимал огромный рояль; с другой стороны во всю стену чернел громоздкий буфет с затейливыми фигурками и узорами. Старик прошлёпал к письменному столику с чернильным прибором, в который были вмонтированы остановившиеся часы с трубящими в рога статуэтками охотников, сел на стул с высокой, из витых деревянных прутьев спинкой. В горнице-музее Зерцалов сам был наподобие экспоната, разве что живого.

– С Троицей вас, Василий Ефимович! – громко проговорил, чуть ли не прокричал Сашка и вперился куда-то в угол. – Вот незадача! Лампадка-то не горит!

Он вскочил на стул, чиркнул спичку и запалил огонёк, высветивший святой лик на иконе. Валька грешным делом подумал, что хозяин сейчас заругается: мало кому чужое самоуправство, вдобавок с прыжками и скачками, понравилось бы, но Зерцалов, подшлёпав к Бешену и взяв его за руку, поблагодарил:

– Спаси Бог... Сижу, ровно нехристь.

Сашка, перекрестившись, вдруг запел сильным чистым голосом:

*Благословен еси Христе Боже наш,  
Иже премудрые ловцы явлей,  
И теми уловлей вселенную,  
Человеколюбче, слава Тебе!*

Старик, тоже глядя на икону, подтянул хрипло, еле слышно тропарь. Мало что понимающий Валька вздрогнул, когда где-то сбоку отворилась дверь. В проёме её стояла, опираясь на костыль, старуха. Сатюков узнал её тотчас по крючковатому носу и близко сведённым к нему маленьким злобным глазкам – билетами бабуля торговала на той танцплощадке и частенько, высу-

нувшись из окошка кассы, на пару с контролером орала благим матом на парнишек, норовящих прошмыгнуть мимо. И тут завопила:

– Распелись-то, разорались, как анкоголики! Спать мешаете! Опять этого дурака пустил! Сколько раз говорила. Уходите-е!.. – свирепо застучала она костылём.

– Маруся, пойми! Александр с юношей просто навестить зашли, с праздником поздравить, – попытался несмело возразить старик, да куда там.

– У них в церкви каждый день праздник! – понесло старуху. – Только и ладят, чтоб своровать и пропить.

Сашка с Валькой попятились к выходу, Зерцалов замыкал своими шаткими шажками отступление.

– Вы уж извините её, она нервная, больная, – он, прощаясь, слабо пожимал гостям руки. – Александр, пока лето, отвезите меня в Лопотово, в монастырь... Покорнейше прошу! Перед смертью побывать бы там ещё разок!

– Сделаем, сделаем! – кивал Сашка.

Уходили, оглядываясь. Фигурка старика с керосиновой лампой в руке долго ещё, провожая, жалась в дверях на крыльце.

## ИЗ ЖИТИЯ ПРЕПОДОБНОГО ГРИГОРИЯ

Перед Рождеством по санному пути тронулся обоз с кое-каким купецким товаром в Ростов Великий. С ним пустился в путь и игумен Григорий, собираясь поклониться ростовским святыням, прихватив с собой парнишку-келейника. Бодрой рысцой бежали лошади, на взъёмах переходили на неторопливый шаг, втаскивая возы, зато под горку полозья саней только весело выскрипывали в разъезженных колеях. Гнали весёлые артельщики с товаром и не чаяли, что поджидала их курносая с косой на плече. На перепутье дорог уже недалеко от города загнала пурга заночевать на постоялом дворе. Теснота, спать завалились вповалку. Григория среди ночи кто-то тронул за плечо.

– Баба, энто, за печью помирает... Спроводил бы.

Игумен, разбудив келейника и переступая через тела спящих на полу людей, добрался до задвинутой в запечек лавки. Зажжённый пук лучины высветил кучу тряпья; из него проглядывало лицо, непонятно – молодое или старое, тени от огня пугающе трепетали на нём.

Григорий положил ладонь на холодный, в липкой испарине, лоб женщины. Опять кто-то шепнул в ухо:

– Кончилась... Упокой, Господи, душу рабы твоя...

Игумен провел ладонью по её лицу, закрывая выпученные глаза. Лучина пыхнула ярче, и Григорию показалось, что изведённое судорогой, застывшее лицо оскалилось в зловещей ухмылке. Келейник рядом гнусаво забубнил Псалтырь...

В Ростове обозников свалил мор. На телах, на лицах больных вспучивались нарывы и лопались, превращаясь в страшные гнойные язвы. Двух чернецов, брошенных в санях посреди улочки полувымершего города, подобрала чья-то добрая душа. Мечущихся в горячечном бреде привезла в опустевший ближний монастырь, где уцелевшие иноки снесли их в общую отгороженную келью для умирающих. Затихло вскоре всё там: ни стоны, ни вздыхания...

В келье той уже порешили не топить печь, боялись приблизиться – мор, говорили, в городе пошёл на убыль, живым остаться можно. Со страхом взирали на занесённую снегом крышу последние насельники монастырские. Дверь неожиданно отворилась, и, пошатываясь, держась за неё, выбрел высокий измождённый чужак чернец, захлебнулся морозным воздухом и, сделав несколько неверных шагов, упал на колени в снег. Воздев руки, захрипел надсадно:

– Братие, помогите! Живой я, замерзаю...

## ГЛАВА 5. КАТЕРИНА

Две девчонки, поблескивая ляжками, едва-едва прикрытыми юбчонками, излишне взбодрённо вышагивали прямо посередке шоссе. Тяжёлый военный грузовик, обгоняя, потопил их в облаке сизой вонючей гари и пронзительно засигналил, солдаты, сидящие в кузове, загоготали. Семнадцатилетние соплячки разродились в адрес обидчиков отборным матом, как будто из пивной отродясь не выкуркивали. Мимо кучки людей на остановке автобуса прошли, независимо задрав носики, покручивая задами, обе румянощёкие, стройные. Женщины осуждающе поджали губы, примолкшие же мужички шарили по фигуркам девчонок, свернувших на дорогу, ведущую к воинской части, жадными взглядами.

«Мокрощелки!» – в сердцах вздохнула Катька, вроде и осуждая их, и завидуя тоже. Верно, ни заботушки, ни тоски. Стаканище водяры да жарко обнимающий под кусточком голодный солдатик, а то и не один... Хотя мало завидного-то, уведёт эта дорожка чёрт те знает куда. Но всё же проще: переспала с солдатиком и забыла напрочь про него. Сама в их годы не хуже была. И перед муженьком, глядишь, не оправдывайся, где



да с кем ноченьку проваландалась. Вспомнился Катьке муж законный Славик...

Дернул же лёший связаться, спутаться накрепко с ним, заводским инженером из райцентра. На целых пятнадцать лет старше. Лысоватый, щуплый, руки ниже коленок болтаются, будто у обезьяны, улыбается – скалит вставные зубы, точь-в-точь приноравливается тебя слопать; бесцветные глаза навывкат под самый морщинистый лоб. Это уж так опротивел, обрыг за немногие годы совместной жизни! А тогда Катька на инженеришку этого сходу глаз положила...

Опившаяся сладкого деревенского пива на выпускном вечере после школы-восьмилетки, Катька была на сеновале лишена невинности тремя одноклассниками, и стала после того девушке шапочка набочок. Катька, протрезвев, никому и не подумала жалиться, отряхнула смятый подол платья, смахнув сенную труху, добрела до пруда, выкупалась. Трясаясь голышом на предутреннем холодке, всплакнула было, но, закусив губу, надёрнула платье и побрела к отцу в деревеньку.

Она настырилась пожить в райцентре – нескольких сросшихся рабочих посёлках, утопающих в болотистой низине возле Сухоны-реки, и денно и ночью удушаемых клубами фабричного ядовитого чада. Катька помыкалась здесь туда-сюда, в конце концов надоумил её кто-то приткнуться – ни много ни мало – на курсы шоферов. Устроившись на работу в одну «шарагу», получила Катька дряхлый, сыплющий запчастями «москвичонок». И не вылезать бы ей, чумазой и провонявшей бензином, из-под него, да много нашлось охотников автомобилю ремонтиншко любой учинить, так что Катерине о привлекательности своей заботиться не пришлось.

Деятнадцатый годок шёл девчонке – цветок. И каждому – будь то сопливый, только что от мамкиной юбки парень или почтенный папаша семейства – желалось отщипнуть от него лепесток. Катька особо не церемонилась, давала, не скупилась. Даже престарелый, ещё хуже своего служебного «Москвича», начальник «шараги» Иван Семёныч, бывало, не удерживался, клал сухую, испещрённую сиреневыми жилками ладонь на округлое катькино колено, елозил ею по ноге, щуря блаженно глаза, и Катька понимающе терпела.

Славик прикатил за какими-то бумагами к Ивану Семёновичу на изрядно потрёпанной, но собственной «Волге». Что-то не сладилось, пришлось ехать в соседний городок, и провожатой инженеру, хитроумно сославшись на хвори, Иван Семёнович отрядил Катьку. По дороге – слово за слово, у Славика

нашлась бутылка «Шампанского» с шоколадкой, придорожный лесок красотою попутчикам приглянулся, да и погодка пригожая шептала-нашёптывала...

Катька, которой приходилось прежде довольствоваться парой стаканов дешёвой «мазуты» или ж на хороший конец – водки, долго не ломалась. Славик оказался в делах блудных не промах, с грубой угловатой шофёрней, норовящей сграбастать в железную хватку в своё лишь удовольствие, близко не поставишь. И Катерина вцепилась в него жадно, до одури... Они встречались почти каждый вечер, укатывали на машине куда-нибудь в глухомань, подальше от глаз знакомых, и жарко любились ночи напролёт. Славик изоврался весь жене и двум пацанам насчёт «командировок», но синие мешки под глазами и иссохшее тело, колеблемое ветерком, мертвецки непробудный сон в редкие ночёвки дома выдавали мужика. Супруга с ним развелась. Славик, видимо, особо не огорчаясь, затеял шумную пьяную свадьбу с Катькой. Гордо задирая нос, довольнёншенек, косился он на юную невесту с изрядно выпячивающим под подвенечным платьем животом.

Славиковой родни, презревшей его за такой поступок, на свадьбе почти не было, собралась многочисленная весёлая катькина родова. Лихо отплясывал отец, сеструхи перешёптывались и посмеивались за столом, разглядывали свою старшую с выкурнувшим невесть откуда женишком, мать с грустью вздыхала, не ведая, радоваться ей или печалиться. За последним дело не стало. При делёжке имущества с бывшей супружницей свою знаменитую «Волгу» Славику пришлось продать: пополам машину не распилишь, а из квартиры уйти в комнатёнку в барраке. Мстительная первая жена накануне развода побегала по всяким комитетам: Славик схлопотал по партийной линии добрую выволочку, и на службе его из главинженеров сходу выперли, как юнца на побегушки поставили.

К дочке в полутьме барачной каморки Славик не торопился питать отцовских чувств, охладел и к Катьке, исчезал подолгу неизвестно где и возвращался пьяным и злым на весь свет. Катька пробовала жалеть несчастного муженька, даже не выясняла уж, где его черти порою носили. Но когда Славик, заросший колючей щетиной после очередной «отлучки», сытый вдрабадан, оскалился злобно на старавшуюся стащить с его ног сапоги жену: «Из-за тебя всё, сучка, потерял!» – у неё всякая жалость пропала. «Так ведь тебе, старому хрену, молоденькой захотелось!» – крикнула она. Славик вцепился ей в платье, разодрал его. Катька оттолкнула опротивевшего окончательно

мужа, ушла на улицу, долго редела на крыльце под доносившийся в неприкрытую дверь равномерный храп супруга...

Подговорив соседскую бабку поводить с дочкой, она устроилась на завод гонять на каре. Вдохнулось легче. Славик вскоре втяпался в нехорошее дело: с мужиками стянул с завода какие-то детали и пристроил их по сходной цене – на гулянки деньжонки требовались. Ещё по дымящимся следам «коммерцию» разнюхало ОБХСС, ушлые славиковы компаньоны отвертелись как-то, а каткиному муженьку пришлось сесть на «зону». Катка вновь искренне пожалела его, когда он, стриженный наголо, лопоухий до несуразности, исхудалый, при первом свидании жадно вцепился в её тело. Но потом – то ли ему показались подозрительными чересчур излишние ласки жены, то ли насытившись, просто из «профилактики», – Славик больно крутанул сосок на Каткиной груди и взвизгнувшей супружнице закатил пощёчину. «Шлюха! Сука!» Катка бы легко, как пёрышко, могла сбросить его с себя, но лежала беспомощная, раздавленная...

После той ночи в комнатухе с зарешёченным окном пошла она по рукам. Увлекалась не только холостяжником, отбивала и мужей от законных жен. Мужички, и писанные красавцы и плохонькие, лядашие, убийственно летели к пышногрудой улыбчивой Катюхе мотыльками на огонь и, недолго потрепыхавшись, с подпаленными крылышками уползали виниться перед своими полоротыми половинами. Катка, выжав и выпив до капельки очередного «хахля», расставалась с ним через недельку-другую без особых сожалений, благо уже начинала погуливать с другим, а кто-нибудь третий топтался на «подхвате». От неё не убудет. Так стали утверждать злые языки. И в родимом ли городке появлялась Катка или шагала по улицам задымлённого грязного райцентра – недобро косились и шипели на неё бабы и жадными глазами провожали её фигуру мужики, крикая, скобя в затылках. Кое-кто, побойчей и понахрапистей, позабыв про жену и детушек, бесстыже лип к Катке, сыпал шуточками-прибауточками, норовил шлепнуть её по ядрёному заду. Однако с некоторой поры руки распускать стали побаиваться...

Катка не смогла простить Славика того унижения на тюремной «свиданке», больше не навевалась, хотя и посылал он ей жалостливые, зовущие письма. Срок у него был небольшой – для него долог, а для Катки это время промелькнуло почти незаметно. Вторую дочку прижила, и кто отец, затруднилась бы ответить. День настал, которого она страшилась, и желала, чтоб оттянулся он как можно дольше. Возвернулся Славик. Катка, разузнав, что освободившегося муженька видели подходов-

шим к дому, а потом ещё и в пивнухе, завалившись к подруге, напилась в стельку и только уж после заявила домой, разве что не валяясь и с размазанной по всему лицу «штукатуркой». Она смутно помнила, что говорил, кричал Славик, провалилась вскоре в бездонную чёрную яму и очнулась от боли, лежа ничком на полу, полуголая, со связанными за спиной руками. Муж расхаживал около, подпинывал её под бока носками сапог.

– Очухалась, сука?!

Славик со злобным смешком всадил от души Катьке пинок, что она взорала, и кряхтя – откуда у слабака и силы взялись! – рывком перевернул её на спину.

– Раскорячилась, шалава! – он сел на табуретку напротив пытавшейся подняться с пола жены и бесполезно сучившей ногами, издевательски захохотал, с презрением разглядывая Катьку, смачно харкнул на неё. – Наслушался я про тебя в пивнухе. Что с тобой, стерва, и сделать? Прикончу...

Катька, перестав двигаться, обречённо растянулась на полу, отвернув от Славика в сторону лицо, и прикрыла глаза. Будь что будет... Славик вдруг спрыгнул с табуретки, бухнулся на колени и подполз к Катьке, сипя что-то жалостливое, мокрыми противными губами ткнулся в грудь.

– Пошутил я, Катя! На «понта» хотел тебя взять, поучить маленько. На «зоне» о тебе только и думал.

– Руки развяжи!

– Сейчас! – Славик проворно распутал жене руки.

Катька, брезгливо отстранившись от него, встала, прислонилась плечом к тёплой печной кладке, принялась разминать затёкшие кисти рук.

– Лучше бы ты не возвращался...

– Я?! – тонко взвизгнул Славик. – Гулять понравилось? Я тя порешу-у!

– Трус! Только с пьяными бабами и воевать! Бей!

Славик, ретиво заверещав, схватил маленький топорик для щипания лучины, но Катька – откуда и силы взялись, может, когда увидала на мгновение лица дочерей – опередила мужа, шлёпнула его по лысому темечку увесистым берёзовым поленом. Мужичок по-заячьи вякнул и, выронив топор, затих на полу. Катька в задумчивости подержала в руках изодранное в лохмотья платье, бросила его на тело Славика, накинула на себя кухонный халатик и пошла заявлять в милицию – человека убила. Думала – посадят, а присудили год «принудки».

...Подъехал долгожданный автобус, пассажиры, толкая друг друга, устремились в салон поскорее занять места. Катька про-

пустила всех вперёд и ещё стояла какое-то время, колебалась: ехать – не ехать. Но представив красивого юного мальчика, ждущего её в городке, усмехнулась, взбираясь в автобус: «Ничего, Екатерина Константиновна, не всё, видать, ещё от жизни ты взяла!»

## ИЗ ЖИТИЯ ПРЕПОДОБНОГО ГРИГОРИЯ

Как злой недуг может изломать, изуродовать человека! К выползшему из мертвецкой кельи и распростёршемуся беспомощно на снегу пришлецу боялись приблизиться оставшиеся в живых иноки, крестились, шептали молитвы, воздев руки к небу. И все ж утащили, хоть и опасливо, незнакомца в тепло; страшась вида его, отпоили и откормили с ложечки.

Настал день, когда Григорий сам смог подняться со своего соломенного одра. Взяв бадейку, он побрёл по воду к роднику возле монастырской стены и в натёкшем озерке, прежде чем зачерпнуть воды, увидел своё отражение и с ужасом отшатнулся. Снизу глянул на него некто со страшными рубцами язв на лице, с провалившимися глазами, заострившимся носом. И опять слабость расхватила тело: Григорий, выронив бадью, чуть ли не ползком добрался до кельи. Молчальник, – братия подумывала, что всё ли у него после болезни с речью ладно, – он вовсе замкнулся, и кое-кто из иноков решил, что и разумом повредился. Но Григорий, что бы ни делал, пребывал постоянно в молитве. Хворь смогла исковеркать плоть, но дух в высохшем, как кость, постаревшем, поседевшем по поры чернице ей победить не удалось.

Как-то под осень в монастыре попросил приюта небольшой отряд ратников. По измученному виду их, усталым коням можно было догадаться, что проделали они дорогу дальнюю и мчались, как от погони. Так и оказалось. С конниками был возок, из которого бережно вынесли раненого боярина с проступившей кровью на наспех намотанных повязках.

– Костоправ есть среди вас? – спросили у монахов.

Старенький инок Арсений, утвердительно тряхнув седой бородой, потянул за рукав подрясника Григория – подможешь! Врачевал старец раны, шепча молитвы, легкою рукою. Боярин был без памяти, стонал, бредил, а к вечеру отпоенный зельем на травах, пришёл в себя, заозирался тревожно, видя подле людей в чёрных одеждах, но, заметив спокойное лицо старшего ратника, утих.

– Люди мы князя московского Василия Васильевича, – через силу, хрипя, заговорил он. – Князь Юрий Галичский Москву взял,

себя заместо племянника своего – законного нашего государя вознамерился поставить. Василий наш юн да неумел, в боярах измена открылась. Сеча!.. А опосле из наших кто как ноги уносил. Мы вот от погони насилу отбились...

Григорий почувствовал, как зазудел, а потом и заболел старый шрам на плече от своей – русской! – стрелы; представилось, будто наяву: русичи же русичей рубят яростно на лесном волоку, а поодаль усмеваются татары...

– Я пойду к Юрию! Усовещу! – громко вырвалось у Григория.

Монахи испуганно и удивлённо, впервые слыша его звучный голос, оглянулись – пришлец прежде одними знаками изъяснялся, как немтырь. Боярин тоже глянул на него с сожалением, словно на умалишённого:

– Станет ли тебя, сирого мниха, князь слушать? Башку долой – и делов!..

## ГЛАВА 6. РИКОШЕТ

### 20-е годы XX века

Место для расстрела выбрали на берегу реки в густом ельнике у древнего каменного креста. Сюда, как царь отрёкся от престола, опасались заходить богомольцы – всякая нечисть и нежить, расплодившись, кружила-путала людей среди бела дня, широкую натоптанную тропу завалило ветроломом, лес надвинулся на неё, плотно сжимая, топорща над нею колючие еловые лапки. Они нещадно секли по лицам приговорённых, бредших со связанными за спиной руками.

Их было четверо. Два босых парня-дезертира, загорелые, схожие меж собой, с ежиками остриженных соломенных волос, испуганно поглядывали по сторонам, как будто на что-то ещё надеясь, сжимали и разжимали толстые корявые пальцы скрученных верёвкой рук, пытаясь освободиться. Молодой монашек с бескровным восковым лицом, потупя взор и шепча молитвы, поотстал от парней, и кто-то из безусых красноармейцев грубо подтолкнул его прикладом винтовки в спину: «Переставляй ходули, поповское отродье!» Монах посмотрел на служивого чистыми, отрешёнными от мира глазами, и тот отвёл взгляд, воровато заозирался, бурча: «Чего пялишься-то, иди...»

Четвёртый, военной выправки старик с седыми бакенбардами и вислыми усами, в залатанном крестьянском армяке явно с чужого плеча, мотавшемся на поджаром теле колоколом, брёл последним и часто оглядывался, обречённо ожидая, что вот-

вот... Сразу за источенным временем крестом, раздвигая ельник, тянулась ложбина, густо заросшая багулой; где-то на дне её вызванивал целебный родничок. Тут же, в траве возле свежеравытой ямы сидели и курили красноармейцы. Они повскакали, невпопад отдавая честь председателю ревтрибунала и командиру отряда.

Приговорённых поставили в ряд, лицами к кресту. Председатель ревтрибунала Яков Фраеров, нескладный, в долгополой шинели, поблескивая стёклышками пенсне, близоруко вперился в листок бумаги: «За самовольное оставление части... – голос его скыркал отрывисто, как у дятла-желны. – За ведение пропаганды против Советов среди населения приговариваются к высшей мере...»

До Зерцалова смысл дальнейших слов комиссара дошёл не сразу:

– Что вам говорю? Оглохли? Командуйте, товарищ начальник!

Фраеров пристально, с нескрываемой ехидцей, ожидающе уставился на Василия.

– Отделение в шеренгу становись! – негромко скомандовал Зерцалов.

– Готовсь! – Василий, косясь на Фраерова, выжидаяще пощипывавшего тонкими длинными пальцами реденькую козлиную бородёнку, вытянул из ножен шашку.

– Пли! – то ли сказал, то ли лишь взмахнул ею.

Линия винтовочных стволов качнулась, выплюнув огонь. В последний миг монах повернулся и, воздетой дланью благословляя убийц, пронзил Василия взглядом небесно-голубых глаз... Зерцалов свалился как подкошенный – пуля, отрикошетив от поверхности каменного креста, угодила ему в голову. Сквозь сгущающийся кровавый туман Василию почудилось, что слышит слова Фраерова: «Отказался – и его б туда, к ним!»

– Уж лучше бы... – успел прошептать он, прежде чем провалиться во тьму...

У Василия Зерцалова, бывшего юнкера, так и не успевшего надеть офицерские погоны, последнее время жизнь состояла из цепи случайностей. Из старой столицы, уцелев в бою в Кремле, вместе с несколькими такими же растерянными и перепуганными мальчишками-земляками он сбежал, забившись в попутный состав, в Вологду к дядюшке под крыло. Старик встретил его в своём обветшавшем, но уютном доме на Большой Архангельской, обнял прильнувшего племянника, глядя по плечам. Прослезились оба. Не говоря ни слова, дядюшка,

смахнув ладонью мокроту с обвисших седых усов, повёл Василия наверх чаёвничать. Прислуга, верно, разбежалась: в пустом доме дядя обретался один. Но он, застарелый холостяк и бывший драгун, похоже, не предавался унынию, захопотал, ставя самовар. Василий разглядывал дядю: в обычном бесшабашно-добродушном выражении лица его появилась заметная озабоченность, ожидание. Зерцалов-младший, добираясь до дому, замечал такое в глазах многих.

– Что притих-то, рассказывай! – излишне бодро воскликнул дядюшка.

Василий в ответ пожал плечами.

– Да-с! А у нас пока тихо.

И ещё большая озабоченность померещилась племяннику в быстром взгляде из-под насупленных мохнатых дядюшкиных бровей.

Эх, дядя! Кабы не ты... Рано померли тятенька с маменькой, и он старшую сестрицу Натали в институт благородных девиц устроил и потом замуж за хорошего человека выдал, а Васенька под его приглядом из хлипкого болезненного мальчугана вымахал в крепкого малого – в юнкерское училище его дядя определил: семейное дело, брат!

– А где Натали?

– За границу с мужем уехали. Пока не вернулись... Дай бы, Господи, чтоб все поскорее утихомирилось!..

Нет, видно, дядюшкины слова были не Богу в уши – подошло времечко, потревожили новые власти и старого и малого. Люди в гражданском, с красными повязками на рукавах подняли Зерцаловых грубым стуком и увели среди ночи. В загородке возле «казённой палаты» топталось с полсотни разного возраста человек, бывших военных. Провели внутрь здания нескольких женщин. Замёрзшие нахмуренные арестанты встречали серый рассвет. Наконец, погнали всех в низкие ворота полуподвала.

– Зерцалов Васька! – окликнул кто-то из кольца охраны, смуглый, кучерявый, в кожаной куртке. – Не узнаёшь?

Яшка Фраеров! Сын управляющего соседним именем Зубовских. Неведомо откуда привёз тогда хозяин Платон Юльевич нового управляющего, черноволосенького, шустрого, как тараканище, то ли молдаванина, то ли цыгана. С ним и отпрыск прибыл – нескладной, худой, в очках. Подружились с ним, когда с дядюшкой приехали в гости к Зубовским в имение. У девчонок Наталии и хозяйской Маруськи свои дела-делишки, а Ваську потянуло на деревенские задворки. Там и услышал он шум и крики: трое пацанов почём зря тузили четвёртого. Обидчики,



по одежке видать, крестьянские или дворовые, а супротивник их одет почище, по-барчуковски. «Трое на одного!» – вскипело васькино сердечко, он ринулся в бой... С расквашенными носами обидчики отступили, но и Ваське, и тому, ходуле нескладному, досталось хорошо. Отерев разорванным рукавом с лица кровь вперемешку с грязью, он протянул Ваське руку: «Спасибо! Век не забуду.» Видались с Яшкой и после мимоходом; потом он пропал. Слышал Василий, что якобы устроил его Платон Юльевич в университет, а там Яшка в революционный кружок затесался, а потом вроде и в тюрьгу загремел. Под стать бате, у которого за лихоимство дело до суда дошло, пока барин по заграницам путешествовал и, нежданно-негаданно вернувшись, отчёта спросил. А теперь Яшка, всё такой же нескладный и худой, поскрипывая блестящей кожей куртки, стоял напротив:

– Давненько не виделись... Да-а! Но раз повстречались, значит, судьба. Давай-ка отойдём. У меня сразу интерес к тебе заимелся... Я сейчас предревтрибунала и комиссар отряда ЧОН. Мне командир толковый нужен. Пополнение набрали – одни чалдоны, скоро выступать, а они не знают, с какого конца винтовка стреляет. Ты – человек военный.

Яшка перехватил взгляд Василия, провожавший согбенные спины последних исчезающих в тёмном провале ворот полуподвала арестованных офицеров.

– Этим дядечкам я не доверяю: сколько волка ни корми... Согласен?

Василий, глядя на медленно сходящиеся створки тяжёлых, обитых железом ворот и чувствуя гуляющий неприятный холодок между лопатками, кивнул. Спросил только:

– А с ними что будет? С дядей?

– Разберёмся. А дядя твой тоже пусть пока у нас погостит, мало ли что учудишь, – яшкин вороний глаз жёстко прищурился.

Сотню мобилизованных парней Зерцалов исправно муштровал, учил владеть оружием, рыть окопы – в училище не только изящные танцы с мадмуазелями осваивал – и старался не думать, что скоро отряд, по утверждению Яшки, перебросят на Северный фронт, где придётся стрелять в белых (соотечественников!). Господи, отведи!.. И вот пришлось...

Дезертиров брали на монастырском подворье. Один поднял руки сразу, два других пытались бежать. Того, что погрузнее, догнали и сбили с ног, принялись охаживать сапогами по бокам почём зря. Третий, лёгкий на ногу, пометавшись вдоль ограды, приноровился было заскочить на командирского коня, привя-

занного у ворот, и тут-то его Яшка, аккуратно и не спеша прицелившись, снял выстрелом из маузера.

– И этих в расход! – кивнул на других.

– Люди, опомнитесь! Что вы творите, тут же святое место! – откуда-то выбежал монах, вздёрнул чёрные рукава рясы, как птица крылья, – и тотчас же смяли, обломали их.

– Так-с, святой отец, пособничаешь, укрываешь?.. Облазьте-ка все закоулки! – приказал Фраеров красноармейцам.

Те вскоре приволокли упиравшегося старика, по виду – бабина, хоть и оброс он, как мужик, и в одежке был крестьянской.

– Никого больше нет! – доложили. – Две бабы ещё больные. Тоже сюда?

Яшка отмахнулся, подошёл к испуганному старику вплотную.

– Доброго здоровьица, Платон Юльевич! Эх, вы, на старости лет да контрреволюцией заниматься! Сынок ваш – белый офицер, и вы, как вижу, не сидите сложа руки. Окопались тут с монахами, силёнки для мятежа копите, людишек подходящих пригреваете. Знаем мы вас!

Фраеров грозил с укоризною пальцем, а Зубовский вглядывался в яшкино лицо подслеповато:

– Не признаю, кто. Но видел где-то...

– К ним его!

Красноармейцы подхватили старика под локти, подтащили к другим приговорённым.

– Я не враг... Я смуту хотел в монастыре пересидеть. Жена больна, дочь тоже, куда идти... – скороговоркой бормотал он.

В нём, скрюченно-обречённом, в самую последнюю минуту узнал Василий бывшего соседского помещика Зубовского...

Спустя десятилетия Василий Ефимович благодарил ту, отрикошетившую от каменного креста пулю, едва не лишившую его жизни. Что было б, случись всё иначе? Кем бы он стал? Убийцей, послушным палачом новой власти? Зерцалов, сидя в кресле, щурясь от света настольной лампы, вопрошал вслух невидимого в полутьме комнаты собеседника. Впрочем, ответа так и не дождался; припомнилось что-то, пришло на ум, и старик принялся опять рассказывать. Такое повелось с ним с той поры, как случилось оставить монастырское Лопотово...

Визит незваных гостей Сашки Бешена и Вальки взволновал старика, напомнил о Лопотове, и Зерцалов рассказывал и рассказывал тому, молчаливому и всё понимающему. Всё равно чуть слышный шёпот никому не докучал: давно спала за сте-

ной жена, и лишь в одряхлевшем нутре старого дома порою что-то скрипело или стонало.

## ИЗ ЖИТИЯ ПРЕПОДОБНОГО ГРИГОРИЯ

Вокруг московских палат княжеских – подозрительная настроенность: галичане в чужом городе чувствовали себя неуютно. У ворот стража едва не воткнула в грудь Григорию копейные древки: смотрела люто, исподлобья.

– Мне б к князю Юрию Дмитриевичу! – попытался отвести рукою древко Григорий.

Стражники забрехали вразнобой, ровно псы цепные:

– Ты кто такой? Тать московский, можа?

– Начепил рясу-то!

– Нужон ты князю!

– Проходи мимо, не застуй! А то...

– Чего раскудахтались? – седобородый, со шрамом через всё лицо ратник выглянул из-за створки ворот.

– Да вот...

Какое-то время ратник, насупив брови, разглядывал монаха, потом вдруг испуганно отшатнулся, осеняя себя мелкими крестиками.

– Свят, свят, свят! Это уж не ты ли, батюшка Григорий?

Он снял шлем и, отдав его кому-то из стражников, склонился под благословение.

– Мы уж похоронили тебя, отче...

Князь Юрий пребывал в послеобеденной дрёме: ночами, в ставшем ещё с малолетства чужим, городе не спалось, а днём в сон клонило. На осторожно вошедшего сотского, приоткрыв один глаз, взглянул с неудовольствием, прикрикнуть хотел, но, заметив за ним человека в чёрном, заворочался тяжело на лежанке, привставая. Постарел сильно князь, огруз, щурился.

– Знакомое обличье вроде...

– Игумен Григорий Лопотов я, кум твой. Не вели казнить, княже, вели слово молвить.

– Погодь, погодь, да ты воскрес! А ведь мор, баяли, тебя одолел?

Юрий, поднявшись, подошёл к монаху, хотел было обнять его на радостях, но отвёл глаза.

– Ещё и ты вот, честный отче, воскрес... Неспроста всё это, думаю, ой неспроста! Знамение, не иначе!

Князь перекрестился на святые лики в огромном позолоченном киоте в красном углу. Григорий встrepенулся, готовясь сказать слово, но князь остановил его жестом руки.

– Ведаю, о чём говорить хочешь... Поступил я не по-христиански, знаю. Мечталось по старому, прадедовскому закону великий стол занять: у племянника-то ещё сопли не высохли. Почему одному – маета, а другому – счастье? И вот дорвался! И навроде не рад...

– Сколько крови христианской пролил, грех какой на душу принял! – тихо сказал Григорий. – А не за горами самому ответ перед Всевышним держать.

– Отмолю, отче! – горестно вздохнул князь. – Бояре мои не вякали бы... Хоть уж сыты, поди!

– Вся твердь-то в тебе, княже.

– Да-да, – согласился Юрий. – Но если бы ты не воскрес, отче, сомневался б я с ними до сих пор. Бог тя послал.

В это время в княжескую горницу смело вошёл статный красивый юноша в богатых, искусной работы доспехах.

– Димитрий! Крёстный это твой игумен Григорий! Чего стоишь столбом, подойди к крёстному!

Парень, пристально взглянув чистыми голубыми глазами на Григория, склонил под благословляющую длань густую шапку золотистых кудрей и приложился к руке монаха.

– Проводи, Димитрий, отца игумена отдохнуть, покорми с дороги! – озабоченно хмуря брови, приказал Юрий. – Да кликни сюда бояр и воеводу. Думу думать станем.

– Опять... – вздохнул Шемяка, придерживая Григория за рукав в тёмном узком переходе. – Совет держать собрался, а меня с младшей дружиной обратно в Галич посылает. Не удержать отцу великий стол, духу не хватит!

При входе в светёлку в ласковых глазах крестника Григорий успел увидеть что-то такое, что испугало его и встревожило. Но, может, показалось... Димитрий сам слил воду крёстному умыться, заботливо уложил отдыхать, послал слугу за ужином. Вроде и успокоил напоследок:

– С москвитями миром кончим...

Едва Шемяка вышел, как Григорий словно в чёрную бездонную яму провалился... Проснулся он непривычно, около полудни: дальняя дорога, тяготы и передрыги дали себя знать. На столе стояла в блюдах тщательно укутанная полотенцами снедь – вспомнилось сразу об ужине, Шемякой обещанном. Григорий спал не раздеваясь и, лишь отряхнув слегка подрясник, встал на молитву. Когда сел за стол утолить разыгравшийся голод, в светёлку заглянула старушка-ключница или нянька, наверное.

– Как почивалось, батюшко? – спросила ласково.

– Слава Богу! – ответствовал игумен, откинув с глиняного блюда укутку и дивясь угощению – парочке жареных цыплят. – Монахи мяса не вкушают. Не знает, что ли, княжич?

– Что с Шемяки возьмёшь, ровно бусурман. – поджала губы старушка. – И тебя, отче, хотел, видать, голубками убиенными попотчевать, честь оказать. Любимое лакомство у безбожника. Сизарей, почитай, по всей Москве для него ловили.

– Крестничек...

Григорий, отодвинув в сторону блюдо с голубями, прислушивался к шуму, доносившемуся с улицы. Он становился всё явственней.

– Московиты радуются. Галичане ночью снялись и ушли тайком из города.

Ключница ещё хотела что-то добавить, но в сенях вдруг загрохотали чьи-то тяжёлые шаги.

– Где монах?

Ратник в дверях отвесил игумену поясной поклон.

– Князь наш Василий Васильевич тебя, честный отче, требует! У крыльца смиренно ожидает.

Юноша, чем-то неуловимо схожий с Шемякой, соскочил с коня и подошёл к Григорию, спустившемуся с крыльца.

– Какой ты, отче... По одному слову твоему враги мои заклятые из Москвы сбёгли. Проси чего хочешь! – князь смотрел на игумена с восхищением и в то же время с плохо скрываемой завистью.

– Покая хочу! – ответил Григорий. – Отпусти, княже, с миром!

Чернеца, идущего с княжого двора с дорожной котомицей за плечами, провожали с великим недоумением и бояре, и ратники, прочая челядь. А игумен держал путь в далёкие северные веси, ища желанного душе и сердцу уединения.

## ГЛАВА 7. ЛЮБОВЬ

В городке, где все друг друга знали, как в большой деревне, посплетничать любили и обожали. Что ж тут вроде б такого: Катька Солина пробежала не в лесхозовский барак к шабашникам-гуцулам, а привернула в заброшенный сатюковский домишко, и пошла-поехала там гульба с «энтим самым»! И что выбралась вечером продышаться и заодно «доппаёк» раздобыть облапленная за пышные телеса не каким-нибудь чернявеньким мужичком, а еле-еле державшимся на ногах Валькой.

«Убийца! Распутница!» – плевались, точили остатние зубы старушонки на углах, вечные добровольные городовые, и тут

же строили предположения о том, какая ужасная участь неразумного отпрыска Сатюковых ожидает, сколько ему, бедолаге, жить на белом свете осталось. А он брёл распянёшенек и в ус не дул, крепче за Катьку цеплялся, чтоб не упасть до поры. Что ему старушечьи сплетни и пересуды: дома, вон, отец с матерью в себя прийти не могут, сердечными каплями отпаиваются, узнавши, с кем сынок связался. Вицей, как раньше, его не надерёшь, ругань – от стенки горох, укоры да слёзы юное, не изведавшее ещё ни настоящей кручины, ни тоски сердце не прошибают.

Валька слышать ничего не хочет. Он голову от Катьки потерял, после бессонных страстных ночей его аж ветром мотает. В избушке любиться благодать – подшуровали малость печурку, чтоб жилым духом пахло, и на пару на старом диване жарко. Жрать захочется: сбродит Валька домой, выудит чугунок с супом из печи, наестся, ёжась за столом от осуждающих взглядов матушки, кое-какой еды для полюбовницы с собой прихватит. Мать только губы подождёт: ругаться уж без толку, хоть к ворожее иди, кабы они водились. Бывало, и навестит, молча, молодых. Катька – ушлая: под одеяло с головой и лежит-полёживает, чувствует, что матушка его не сдёрнет. Не посмеет: какая там Катька пребывает – «неглиже» или в пальто. Зато в райцентре, в гостях у Катьки, Валька побаивался, хотя и труса старательно «бормотушкой» заливал. Тут и на ум рассказы о катькиных похождениях приходили, о могучих, покрытых татуировками хахлах, от которых ноги бы успеть унести. Пока всё было спокойно. Лишь младшая катькина сестра, придя с ночной смены с завода, бесцеремонно приподняла с Вальки одеяло и хмыкнула, увидев ровесника:

– Губа не дура. На молоденьких перешла.

Две катькины дочери детсадовского возраста к появлению Вальки отнеслись по-своему, особо не удивляясь незнакомому дяденьке.

– Ты лётчик? – щупали они его кожаную куртку. – Когда ещё прилетишь?

Хоть авиатором называйте, хоть ассенизатором – Сатюков на всё согласен. Хоть горшком, только в печку не запикивайте! В комнатухе спали всем табором. Теснотища! Катька подкладывала Вальку к себе под горячий бочок, но сколько приходилось ждать сего блаженного мига! Пока девчонки в своем углу в кровати не угомонятся, пока сестра долго ещё на узком, похожем на топчан, диване ворочается и потом – не пойми! – спит или нет. И когда Катька предложила встречаться только

в домишке в городке – пусть и редко, но зато вволюшку наобниматься можно – Валька с радостью согласился. Катька навевалась – и наступал праздник! Июнь тёплый, ласковый, ещё без туч комарья, выманивал влюблённых из хижины. В светлых сумерках убредали они по берегу речки за окраину городка. Валька разводил костёр и, опьяневший и от вина и от близости Катьки, чего только не выделявал: и козлом через огонь скакал, и глотку драл истошно, и валил подружку на молодую травку. Поздно ночью холодало, не спасал и жар дотлевающих углей костра. Валька с Катериной, прижимаясь друг к другу, норовили побыстрее добраться до домишка и нырнуть в его уютное, пахнущее жилым, нутро.

– Люблю. Люблю!.. – ещё долго, едва ли не до утра шептали катькины губы...

Всё бы добро бы да ладно, но запропала Катерина вскоре, в условленное время не приехала.

Сатюков заметался туда-сюда, надоумился, наконец, к подружке катькиной Томке забежать.

– Ой, Катюшенька-то наша, беда-а! – раскатав покрашенные ярко губы, запричитала Томка. – В больницу попала!

– Чего случилось? – перепугался Валька.

– Сотрясение мозгов!

Томка, хныча, размазывала по нарумяненному лицу тушь с ресниц и со включенными неприбранными волосами становилась похожей на ведьму. Вальке не по себе стало, когда она, злобно скалясь, вдруг хихикнула, с ехидцей добавляя:

– В нужнике, говорят, с рундука пьяная грёбнулась. И башкой об стенку! К тебе наострилась, да, видать, не судьба.

Ёлки-палки! Сатюков побежал, сломя голову, в больницу, но на крыльце её, переводя дух, опомнился, и страх напал. Как спросить, что говорить? Опять эти многозначительные, насмешливые, осуждающие взгляды... С Катькой-то, когда шли на пару, их и не замечал, море по колено. Озадаченный Валька, вжимая голову в плечи, принялся кружить возле здания больницы, и сразу любопытные пациенты стали плющить об стекла в окна свои носы. Оставался ещё выход: «налить» глаза для храбрости. Сатюков то и сделал – чем и с кем в городке проблемы не существовало. Нацепив для пущей маскировки солнцезащитные очки, он двинул отчаянно в приёмный покой. Столкнувшись там с молодым бородатым доктором, замямлил, с тихим ужасом ощущая, как из головы улетучивается спасительный хмель:

– Мне бы Катю...

– В первой палате, – не раздумывая, ответил бородач, заступая Вальке путь и вызывающе-насмешливо щурясь. – Постельный режим, пускаем только близких родственников. Вы кто ей будете, молодой человек?

– Я... брат.

– Ну, проходи... брат! – ухмыльнулся доктор и уступил дорогу.

Койка, где возлежала Катька, стояла в самом дальнем углу большой палаты, и подойти к ней можно было лишь по узкому проходу, минуя стоящие с той и другой стороны койки с лежащими и сидящими на них, стрекочущими, как сороки, старухами. Бабки, будто по команде, замолкли и вперились в Вальку любопытными едучими взглядами, и если б не очки, Сатюков точно бы сгорел от стыда.

– Садись рядышком на табуретку, – Катька выпростала из-под одеяла руку и, улыбаясь, пожала валькину ладонь тёплыми крепкими пальцами. – Спасибо, что пришёл. Я ждала... Это-то зачем нацепил? – она указала на очки. – Всё равно тебя узнали. Хочешь, чтоб волки сыты и овцы целы? Так не бывает.

Валька вконец засмутился, сдёрнул, но опять поспешно надел эти проклятые очки. О чём-то бы надо в таком случае говорить – попроведать ведь больную припёрся, да куда там! Бабули, вон, как уши наострили, язык у Вальки сразу к нёбу прирос. Парень промычал только невнятно.

– Ладно, иди! – опять понимающе улыбнулась Катька. – Наведайся попозже, скоро вставать разрешат. А это прочти... – она торопливо сунула Сатюкову свернутый вчетверо лист бумаги. – Думала я тут много, пока лежала. О нас с тобою...

Валька – едва с крыльца успел сбежать – письмо развернул: «Ты не переживай, – писала Катя. – Я тебя понимаю, тебе трудно. Ты как между двух огней сейчас мечешься. С одной стороны – городок, родители, а с другой – я. Не сердись на отца и мать, они желают тебе добра. Жаль, что не верят, что тебе будет со мной хорошо. Я б никогда не обидела их и словом. Прожила на свете тридцать лет, а мало чего радостного видела. Жизнь меня поколотила изрядно, и может, оттого я понимаю многое. Так хочется жить по-человечески. Многим я кажусь несерьёзной, пустой. Но кто бы знал, какая под внешней весёлостью скрывается тоска! Жуткая... Встретив тебя, я будто очнулась. Сначала боролись во мне два чувства. Думала: зачем мне он? Может, найдёт своё счастье без меня? Но чем дальше, тем иначе я думаю. Наоборот, без меня будешь ли счастлив?! К чёрту разницу в годах! Когда я вспоминаю о тебе, у меня ужасно хорошо на душе. Дети? Это уж тем более не помеха. Если будет



нужно, я не боюсь никакой работы. На всё меня хватит. Я могу горы свернуть, лишь бы быть нам с тобою вместе. Ты знаешь, у меня мечта появилась... Будет солнечный тёплый день, и мы пойдём с тобою – помнишь? – в Лопотово, на монастырские развалины. Это будет у нас самый счастливый день в жизни, вот увидишь. Мне этот день даже снится. И никого во всём мире вокруг, кроме тебя и меня... Пусть болтают в Городке обо мне чёрт-те знает что! А хоть бы заглянул кто из этих людей мне в душу! Может, я добрее и человечнее, по крайней мере, не глупее их. Какая я – про себя знаю. Плохо делать людям не в моих интересах. А если уж когда развлекусь да подурачусь, так это от обиды и скуки. Тебя я люблю. Но нужно будет убить в себе это – я сделаю. Ради близких людей жизнь научила меня владеть собой».

## ИЗ ЖИТИЯ ПРЕПОДОБНОГО ГРИГОРИЯ

И десятка лет не минуло, как неподалеку от каменного креста, вытесанного Григорием, стал подниматься монастырь. Алекса, ставя верши на реке, встретился с охотниками: несколько вёрст встречь речному течению деревушка обнаружилась. Народ с желанием пришёл помогать в святом деле. Мужики в лесу выжгли росчисть и покропившему место освящённой водичкой игумену помогли срубить первую монашескую келью. Теперь вот и на шатёр второй бревенчатой церкви с Божьей помощью крест водрузили. Строили вокруг и ограду: место вроде и глухое, но год тих да час лих. Немало воровских людишек шастать стало. И последние послушники, пожелавшие принять постриг в обители, были покалеченные и потерявшие всё, что ещё могло связывать с миром, люди.

Опять разгорелась с новой силой, дотоле потаённо тлевшая, княжеская междоусобица. Преставился старый завистливый князь Юрий – вроде бы миру долгожданному пришла пора настать на Земле Русской, думать бы надо, как от набегов татарских отшибаться, да нет: видно, Божие попущение за грехи долгим оказалось. Ополчились теперь на московского великого князя Василия дядьевы отпрыски... А князь Василий в недобрый час венец принял: бегал в суматохе из Москвы от Юрия, потом сглупу в полон к татарам угодил – насилу выкупили, а когда в плен к нему попал старший брат шемякин тезка Василий, поступил как язычник поганый, перенял у татар-то – приказал тому очи выколоть. И не ведал, что готовил себе такой же удел...

Не смог противостоять ратям Димитрия Шемяки, бежал и настигнут был погоней. Жестоко расправился с московским государем Шемяка, исполненный мщениа: ослеплённого, при-

нудил отречься от престола и крест на том целовать. И этого показалось мало: несчастный Василий был сослан в далёкий Кирилло-Белозерский монастырь за крепкие стены. Здесь только повзрослел, прозрел духовно незрячий князь. Прознав это, потянулись к нему верные люди и, пока буйствовал и пировал беззаботно Шемяка в Москве, на Севере скапливалось войско. Одно ещё удерживало Василия встать во главе рати – клятвенный договор, но его, взяв грех на себя, снял кирилловский игумен... Подошёл черёд бежать и Шемяке с остатками разбитого войска. Как хищный зверь зализывая раны, укрылся он на вологодской стороне, в Устюге Великом.

Обо всём поведали игумену Григорию забредшие в обитель калики перехожие, и хоть слухом земля полнится, верилось в деяния крестника с трудом. Григорий не раз и не два порывался навеститься к Шемяке в Москву, но застарелые разыгравшиеся хвори не давали ему отважиться в дальний путь. Оставалось уповать только на Божий промысел, молиться с братией в храме и уединённо в келье: «Господи Вседержителю, Боже отец наших, наставь неразумных прекратить брань братоубийственную...»

Зимние сумерки – ранние, когда Григорий вставал в своей келье на вечернее правило, месяц всю заглядывал в окошко. Дикий истошный вопль – показалось игумену – разорвал, встряхнул благодатную тишину внутри монастырского дворика, заметался неистово гогочущими отголосками, отскакивающими от шатров колоколен и наверхий стен ограды. Григорий бросился к окну и обмер – посреди двора бесновалась куча омерзительных гадов. Заметив игумена, они, завизжав, потянули к нему свои уродливые лапы, стали обступать келью, стуча в стены; дверь от страшной силы ударов заходила ходуном.

Игумен упал на колени перед иконами: «Господи, помоги! Спаси раба твоего грешного!» Торопливо, сбиваясь, он начал читать молитву об отгнании бесов... И утихомирился охвативший Григория тряс, сердце утишило испуганные скачки, наполняясь мужеством. Взяв честной крест и из-под божницы стклянницу со святой крещенской водой, игумен решительно распахнул дверь... Но на воле было тихо, падал редкий снежок, робко проглядывали в просветах между туч звёзды. «Ой, неспроста видение! – обессилев разом, Григорий сел на пороге. – Раз враг рода человеческого видимыми своих слуг сделал». Так и вышло. Утром вздремнувшего игумена разбудили – прибыл человек с худой вестью. Шемяка, собрав войско, двинулся с Устюга на Вологду, разоряя и предавая огню попутные сёла. И ско-

ро уж стоять ему под Вологодой, стервецу. А там и путь на Москву откроется...

– Не след, видно, отсиживаться мне, братие! Никак не отпускает мир! Надо вразумить нечестивца...

Григорий спешно собрался в дорогу, и лёгкий возок, с облучка которого правил лошадкой верный Алекса, запкидывало по волоку.

## ГЛАВА 8. ИСКУПЛЕНИЕ

Старик не любил, чтобы его во время пространных монологов тревожили. Некто в дальнем углу тоже не любил вторжения посторонних: потревоженный и обиженный в этот вечер мог больше и не вернуться. Хотя потревожить Зерцалова могла только жена. Бывшая соседка, тоже пожилая, по прежней памяти каждый день навещала стариков, но на бесконечно тянувшийся вечер и на ещё более долгую ночь они оставались в доме одни.

В двухэтажной развалине, обветшавшей совсем за столетие с лишком, скрипели полы, хлопали двери и окна, всякие пугающе-непонятные шорохи хоронились в тёмных углах, порою чудились чьи-то шаги. Василий Ефимович на это уж давно не обращал внимания, но в последнее время ещё одни прибавившиеся звуки стали его раздражать. В самый разгар монолога за чуть приотворившейся дверью начинало раздаваться тяжкое сопение. Мария Платоновна предугадывала жгучее желание мужа захлопнуть дверь, широко распахивала её и с порога – растрёпанная, со злым обрюзгшим лицом, в накинутой на плечи грязной затрапезной душегрее – сердитым, осипшим, точно ослабленная басовая струна, голосом принималась пилить:

– С кем это ты всё разговариваешь? Кто там опять у тебя? Допринамаешь, доназываешь гостей, что обворуют – глазом не успеешь моргнуть! Она, приходили Сашка-дурень с каким-то парнем... Так и зыркают оба, чего бы спереть. И сам с собою дотрёкаешь, что черти блазниться будут!

Жена, тяжело опираясь на костыль, грузными шагами двигалась по горнице, голова её дергалась в нервном тике, едва различимые над отёчными синими мешками глазки поглядывали злобно и подозрительно. Старик на её ворчание не возражал, пережидал, пока она уйдёт, вжимался в кресло. Наконец, захлопывалась дверь, бурчание и шаги затихали в соседней комнате. Зерцалов облегчённо вздыхал: «О, Господи, в юности такая ли

она была?!» Тот, невидимка в углу, слава Богу, в этот раз не исчез, похоже, даже приготовился слушать внимательно...

Василий тогда, после расстрела в монастыре, доставленный в лазарет, отходил долго, старенький доктор сомневался – уж оживёт ли. Голова, особенно там, где была рана возле виска, постоянно болела; происшедшее Зерцалов вспоминал с трудом: какие-то обрывки возникали в памяти, начинали роиться, собрать их в единое целое не удавалось.

– Похоже, вы, голубчик, отвоевались! – напутствовал его на прощание доктор, поглядывая на белую повязку, видневшуюся из-под фуражки. – Благодарите Бога, что живой остались!..

Зерцалов, бесцельно набродившись по улицам городка, где-то на окраине вдруг ощутил, как качнулась, стала уходить в сторону земля под ногами. Он схватился за частокол первой же изгороди и, подламываясь в коленках, медленно сполз в пыльную крапиву. Опять замелькали перед глазами, перемежаясь с разноцветными кругами, чьи-то бледные, отрешённые от всего лица, качнулся ряд выплёвывавших огонь чёрных винтовочных стволов... Туда, к каменному, преподобного Григория, кресту надо!

– Где-ко, солдатик-от пьяной! – послышался откуда-то сверху насмешливый голос.

– Молчи, дурища, не видишь – раненой! Головушка ить как разбита! – отозвался кто-то сердобольно.

Незнакомые люди обогрели, отпоили горячим отваром, уложили спать, но, едва свет, Зерцалов уже был в дороге... Крест разыскать он так и не смог. Накружился вдосталь в окрестных возле опустевшего монастыря ельниках и сосняках: вроде б выходил на похожие, ведущие к роднику тропинки, да спотыкались они, терялись в чащобе. Местные жители как воды в рот набрали – сколько ни расспрашивал их, поглядывали в ответ либо непонятливо, либо испуганно. Нашёлся один древний дедок, подсказал:

– Крест-от басурмане, изверги те вывернули да на убиенных в яму столкнули и зарыли потом... Только понапрасну, парень, ищешь. Не откроет теперь Григорий святое место, коли его осквернили. Да и зачем тебе оно, рази кому там поможешь?

И Василий не выдержал мутного взгляда стариковских глаз. Он слонялся по начавшему дичать монастырскому саду, не ведая уже: оставаться ещё и искать или же отправляться восвояси, когда возле сторожки в глубине сада заметил немолодую женщину с закутанной по-монашьи в чёрный платок головой.

Оглядываясь, она прошла с ведром к колодцу, наклонилась над срубом и неловко, неумеючи почерпнула воды. Зерцалов её узнал, и первой мыслью было повернуться и бежать прочь. Это была жена расстрелянного Зубовского Анна Петровна. Близоруко вглядывалась она в Василия, вначале настороженно и с испугом, потом неверяще и обрадованно:

– Васенька Зерцалов...

Василий, боясь поднять глаза, приложился губами к её маленькой, застывшей на осеннем холоде ручке.

– Ой, батюшки, горе-то у нас какое... Платона Юльевича антихристы!.. – Анна Петровна заплакала, прижала лицо к груди Василия. – И Машенька лежит, больна очень, ни с места. Ладно, люди добрые помогают.

В сторожке – сумрак, пара крохотных оконцев едва пропускала свет. Анна Петровна, вздыхая, зажгла огарок свечи.

– Сейчас, Машенька, сейчас, милая, чайку попьём. И гость с нами.

Зерцалов рассмотрел на подушке стоящей в углу кровати белокурую голову девушки – встретиться бы где случайно, и точно бы прошёл мимо Маши Зубовской, как незнакомой. Бледное, без кровинки, лицо и огромные, беспомощно взглянувшие глаза... Чашку чая Василий не допил: смотреть на хлопчущую хозяйку и больную дочь стало невмоготу. Отговорившись чем-то, он вышел на крылечко и в ранних сумерках, не разбирая дороги, побрёл по саду, едва не натыкаясь на стволы деревьев. «Господи, помоги! – сжимал и тёр он в отчаянии виски. – Почему?.. Они ничего обо мне не знают... Рассказать им обо всём? Нет, нет, только не это!» Заморосил мелкий нудный дождик, осыпавшиеся кроны деревьев пропускали влагу, и Василий вскоре вымок до нитки. Стуча зубами от холода, он, в конце концов, вернулся к сторожке и ещё долго топтался на крылечке, не решаясь постучаться. «А если остаться около них? – осенило его вдруг. – Самому-то куда идти? И попытаться испкупить вину...»

Он остался, Зубовские были только рады. Перебивались кое-как. Когда в монастыре организовали коммуны, Василия попросили присматривать за садом, где приноровился он развести пасеку. Местные власти поглядывали на Зерцалова хоть и искоса – всё-таки барского роду-племени, но и не докучали особо: красный командир, вдобавок раненый. Так и ходил он постоянно в поношенном френче, перехваченном ремнём, в галифе, в начищенных до блеска сапогах; летом в кепке, схожей с фуражкой, зимой – в папаче. И до того привыкли к его

полувоенному виду люди, что появишься он в гражданской одежде – вот бы, наверно, было удивление.

Манечке Зубовской Василий сделал предложение. Выздоровевшая и окрепшая Маша от удивления захлопала густыми ресницами и смутилась, зато Анна Петровна благословила молодых с радостью и облегчением – сама теперь на смену дочери слегла и истаявала тихо. Не венчались – церкви закрыты и в сельсовет «расписываться» не пошли. И не замедлила, лягнула она. В блуде-то жизнь... Схоронив матушку, погоревав, Манечка ровно взбесилась. Женщина грамотная, в колхозной конторе ей местечко нашлось. Там с компанией связалась, едва в комсомол не затащили, кабы не происхождение. Но по избачитальням исправно ходила, где и спуталась с конюхом Митькой, по кустам с ним стала шарашиться.

В деревне все на виду и на слуху; кто жалел, а кто осуждал Зерцалова – что за мужик, нет бы положил конец прелюбодеяству! Но Василий лишь скрипел бессильно зубами: вроде муж и не муж, а так – сожитель. Заикнулся несмело – Мария сходу заявила: под венцом перед Богом с тобой не стояла, и записи о нашей совместной жизни нигде нет. Вольная птица, свободная женщина. Митьке вот только скоро она наскучила, наигрался парень вволю, а в жёны брать белоручку – Боже упаси! Да и вроде она замужняя... Мария, опять же по совету новых своих подружек, сходила к знахарке и приползла потом домой чуть живая. Василий уж думал – всё, хлопотал над ней, позабыв обиды, отпаивал с ложечки, доктора из города пригласил. Супружницу удалось выходить. Присмирела она, замкнулась в себе, и случалось, иной день Василий слова от неё не слышал. Но стоило однажды вспыхнуть мелкой ссоре, как попрекнула:

– Зря со мной водился-то... Лучше было б мне за матушкой вослед.

Зерцалов, уйдя из дому, долго, дотемна, сидел тогда, разведя костер, на берегу речки. Хотелось куда-нибудь уехать, но куда? Кому он был нужен?.. И никак не ожидал, что мог Марии так опостылеть. Любил ли сам её? К той девочке, в горячке беспомощно разметавшейся по кровати, пробудилось чувство, но когда он решил опекать семью расстрелянного им человека, остаться с ней, исполнение долга возобладало над всем. Даже заглушило ощущение вины... Поначалу он втайне гордился своим поступком, и ему не могло прийти в голову, что через несколько лет он может оказаться просто-напросто лишним.

Василий посмотрел на насупившийся за речной излучиной в подступавшей темноте вековой ельник, вздохнул, пытаюсь

отогнать мрачные мысли. Теперь вот, не по один год, не бродил в чащобе, не искал каменного креста, безымянной могилы. Не желал, видно, преподобный Григорий место указать. Или время ещё не приспело?.. Вернувшись, Василий в избу не заходил, лёг в сенцах на постель из соломы и не успел глаз сомкнуть, как раздался требовательный стук в дверь.

– Зерцалов? Собирайся!

Ввалившиеся мужики в штатском перевернули вверх дном всё в доме и втокнули Василия в «воронок», оставив растерянную и перепуганную Марию.

...В камере Зерцалов заметил, что к нему постоянно присматривается один из арестантов со смуглым измождённым лицом со следами побоев. Пристальный взгляд чёрных печальных глаз преследовал Василия всюду. Арестанта чаще других выводили из камеры, надолго, и приведённый обратно, он забивался сразу в дальний угол, тяжело вздыхал, заходил в захлёбывающемся чахоточном кашле, и когда отпускало, стонал негромко. И опять искал взглядом Зерцалова. Ночью, наконец, подобрался к нему и зашептал на ухо:

– Признал я тебя, Василий. Никак не думал, что ты живой. Яков я, Фраеров! Забыл?

Яков закашлялся, и Зерцалову, обеспокоенному и растерянному, пришлось терпеливо ждать конца приступа. Радости от встречи он не испытывал.

– Из виду я тебя потерял. Чаял тогда, у креста-то Григорьева, тебе пулей насмерть отрикошетило. А тут, ещё до ареста, случайно услышал: жив, здоров и в тех же краях проживает. Ну, думаю, воскрес. В Бога не верил, а тут поневоле верить начал. Сберег тебя Григорий-заступничек!.. Я вот чего тебе скажу и никому другому... – Фраеров в душной полутьме камеры закрутил головой, заозирался, прислушиваясь к храпу и сонному бормотанию сокамерников. – Чую, не сегодня-завтра шлёпнут меня! Не нужен стал, – он зашептал ещё тише, Василий еле угадывал его слова. – Не охота уносить с собой... Я тут не в одной камере сидел, сволочей и своих краснозвёздных и чужих-ваших простукивал да под «вышку» подводил. Добровольно на это пошёл, едва арестовали. Не виноват я!.. – Фраеров пристукнул кулачком в грудь и опять зашёл в кашле. – Но вместо свободы и наград забивать ещё пуще стали. Я теперь всех оговариваю – и виноватых, и правых... А ты, раз выжил, живи дальше, нет ничего на тебе. И ещё один грех на мне – дядюшку твоего, заложника, в первую же ночь расстрелял.

Фраеров неприятно задрожал мелким смешком.

– Не поп ты, а тебе покаяться...

Василию захотелось брезгливо отодвинуться от него: было и страшно и гадко, но было и почему-то жаль этого, опять согнутого в дугу кашлем, вырывающимся из отбитых лёгких, уползающего в свой дальний угол человечка. Утром Фраерова увели из камеры, и больше он не возвращался.

...Сашка Бешен и Валька слово сдержали: раздобыли лошадь с тележкой, посадили старика на охапку сена и отправились в монастырь. Тронулись не рано, солнце стояло уже высоко, парило, как перед ливнем. По дороге, развороченной весной колёсами и гусеницами тракторов и теперь высохшей, с выворотнями земли, колдобинами, ямами, кобыла, боясь обломать ноги, вышагивала неторопко, но телегу всё равно подбрасывало и трясло почём зря.

Зерцалов, вцепившись бескровными иссохшими пальцами в грядку телеги, как выехали, не проронил ни слова: порою казалось, что старик, полужёжа на сене, спит с открытыми, подёрнутыми мутной мокротой глазами.

Побеспокоил, разбудил его тяжёлый дурной запах, который временами приносил ветерок, особенно когда повозка выскакивала из перелесков, обступающих дорогу, на ровное открытое место. На речном берегу уже стало не продохнуть... Вода в реке текла чёрная, с белыми пузырящимися барашками ядовитой пены на поверхности. Ни зелёного листочка водоросли, ни резвящегося рыбного малька; вдоль обоих берегов тянулась жёлтая мёртвая канва. Лошадь зафыркала, упёрлась, не пошла вброд. Сашка соскочил с телеги, ухватил кобылу под уздцы и, уговаривая, кое-как затащил в реку. Перевёл, сам бултыхаясь по пояс. За речным изгибом вроде всё так же приветливо и весело зеленел монастырский холм с развалинами церковью. Старик попросил остановиться, слез с телеги. Придерживаясь за неё, побрёл рядом, торопливо и жадно озирая окрестность.

Когда взобрались на холм к остаткам крепостной стены, нескрываемая, почти ребячья радость с лица старика исчезла; он был растерян, похоже, узнавая и не узнавая место. Да и Валька, понуро плетясь позади всех и высматривая тайком домишко, где когда-то варзал, с удивлением не находил его. На месте деревеньки груды головешек чернело пепелище, валялся битый кирпич, распяливали обугленные сучья деревья. А там, где стоял прежде домик, начиналась испаханная тракторными гусеницами и полозьями саней полоса с вмятыми в землю, ещё кое-где зеленеющими искорёженными яблоньками и, извиваясь, тянулась к вырубленному бору. У оставшихся



у самой воды вековых елей желтела, осыпаясь, хвоя: весенний паводок погубил их.

Старик не смог преодолеть рытвину на месте крыльца домика, споткнулся и боком упал на груды вывернутой глины. Бешен и Валька бросились ему на помощь, но он остановил их слабым жестом руки и ладонью прикрыл глаза.

– Сад у него тут был, – вполголоса забормотал на ухо Вальке Сашка. – Прежний, монастырский-то в войну вымерз, пока старик в лагере сидел. Так он новый посадил, и – смотри! – что гады вытворили, объехать поленились. А домик у деда ещё раньше какие-то идиоты разорили, сам я потом окна досками заколачивал. И уехал-то он всего на ночь: косари в баньке мыться собрались, да загуляли, в городок их понесло, и Василия Ефимовича с собой сманили... Он всё домишко отремонтировать хотел, да слёг, больше сюда и не бывал. Я сам не рад, что его привёз. Знал, что реку стоками с бумажного комбината отравили. Что ж творится здесь, Господи!..

Сашка, не переставая, бубнил и ещё, Сатюков же виновато прятал глаза. Казалось, что и старик, и Бешен знали про его здешние прошлые проделки. Хотелось, как в детстве, набедокурив, убежать, но Валька стоял и боялся взглянуть на опущенные худые стариковские плечи и облепленную белоснежным пухом голову. Старик, отняв от глаз мокрую ладонь, пытался всмотреться в расплывчатые очертания изувеченного, наполовину вырубленного ельника. Где-то там прикрывал вытесанный игуменом Григорием крест косточки невинно убиенных, и на том месте кто-то без тоски и горя валил деревья, потом трелевал их к дороге, уничтожая попутно сад. А ведь даже в войну бора не тронули...

Надо туда добраться, может, родник найдётся и крест укажет! Но подняться не было сил...

– Живого бы довести! – озабоченно сказал Бешен.

– Ведь это я, я его!.. – неслышно шептал Валька.

## ИЗ ЖИТИЯ ПРЕПОДОБНОГО ГРИГОРИЯ

Предав разору село великокняжеской вотчины, довольный Димитрий Шемяка ехал во главе рати. Хмельно шумело в голове то ли от крепкой медовухи, то ли от пролитой крови. Опять близок дедовский престол, ещё малость поднатужиться – и вот она, великокняжеская власть! И до того, что у Василия, ослеплённого и уже прозванного Тёмным, прав больше и поддерживает его народ, измотанный и обескровленный княжой распрей, так то не больно важно. Верных Василию людишек и обуздать

можно и в крови утопить – взять бы белокаменную! Пока впереди Вологда. Эх-ма! Завалим!

А на воле как любо! Лёгкий морозец пощипывает щёки, в лучах клонившегося к закату багрово-красного солнца змеятся синие тени от деревьев, пересекая волок. Давит лес с обеих сторон узкую дорожку, стоит сплошной, засыпанной розовым снегом стеной и – вдруг – раздвигается перед рекой. Застучали конские копыта по настилу моста. Карько под задремавшим князем всхрапнул, отпрянул назад. Гомонившие за княжеской спиной ратники смолкли. На середине моста, возняв посох, стоял чернец.

– Стой, князь! Стойте, люди! – обратился он властно, твёрдо. – Не довольно ли вам пролитой крови христианской? Ужель алкаете её, аки звери лютые? И кара Божия вам не страшна?! – глаза монаха из-под низко надвинутого клобука неотступно-строго смотрели на притихших ратников. – Призываю вас поворотить вспять коней своих, вернуться в родные веси. Хватит братоубийства на ликование врагам Земли Русской! К тебе, княже Димитрий, крестник мой, взываю – замиришь с братом своим Василием, перестань против него который чинить. Пойми и заруби себе, что не ты по закону над ним старший, а он над тобою...

– Не бывать тому! – разъярённым медведем взревел Шемяка, было трусовато притихший при нечаянной встрече с крёстным своим игуменом Григорием, которого уж в живых-то не числил, но при одном упоминании имени князя московского потерявший сразу всякий рассудок. – Эй, молодцы! – крикнул он двум кметям. – Свалите-ко мниха с дороги, чтоб не смердил тут!

Здоровенные кмети легко, как перышко, подкинули почти невесомое тело Григория и свергли с моста. Короток Шемякин суд. Только и успел прохрипеть чернец:

– Будьте вы прокляты!

## ГЛАВА 9. ЯМА

Из больницы Катька пропала, как в воду канула. Валька, обеспокоенный, не стал дожидаться утреннего рейсового автобуса, взял у знакомого напрокат велосипед и рванул в райцентр. На катькиной квартирке запыхавшегося с дороги Сатюкова встретили удивлённо вытаращенными глазами младшая сестра Катьки и дочери. Ни слуху, ни духу... Валька промотался весь следующий день, как опоенный, в конце концов, вечером оказался в пьяной ватаге парней, и когда вытягивал уже через силу очередной

стакан «бормотухи», кто-то из вновь прибывшихся к компании ему словно ведро холодёнки на голову вылил:

– Катька-то твоя с хохлами в бараке... Говорят, из больницы удрала и – на делянку в лес, к бригаде! Запила там и всё такое. С какой-то ещё лярвой по переменкам голышом через скакалку перед мужиками прыгали...

Все-то уж в городке знали и знали всё, только вот Валька ушами хлопал да сопли жевал. То-то парни поглядывали на него – кто с усмешкой, кто сочувственно. А он понять не мог... Сатюков взвыл, выглотал залпом «бормотуху» и, ошалело выкатив глаза, помчался к лесхозовскому барaku.

Лесорубы-закарпатцы, мужики семейные, обстоятельные, за зиму заколотят на делянках длинный рубль и по весне задают тягу в родные края, уступив место черноусым «мушшинам» в кепках-аэродромах какую-нибудь конторку или коровник строить. По городу, по значным местам, по танцулькам лесорубы не шатаются, а обычно обжимают по домам голодных до любви молоденьких разведёнок, но всё равно держатся в своём бараке сплочённо: вроде б и не оккупанты, да на чужой земле. Впрочем, особо нетерпеливые местные бабёнки поплоче сами к ним по ночам шастают, и когда бригада в городке после делянки на отдыхе стоит, порою крутое идёт гульбище.

Вот он, приземистый бревенчатый, по-стариковски скособо-чившийся барак на берегу реки! Валька сходу пролетел тёмные сени. Яростно пыхтя, нашарил дверную ручку, рванул... В большой комнате с низким закопчённым потолком на затоптанном дочерна полу стояло с дюжину неряшливо заправленных коек, за столом посередине трое молодых мужиков, нещадно дымя, лупились в карты. При свете тусклой лампочки под потолком иной из них подносил подслеповато к глазам карту, прежде чем хлопнуть ею об изрезанную, усеянную чёрными точками – следами от искр папирос, столешницу. Но Вальке и тусклый свет, и сизое облако табачного дыма, шибанувшее в глаза и в нос, были нипочём – с подушки на койке в углу свешивался рыжий жгут каткиных крашенных волос!

Сатюков, долго не раздумывая, с грохотом опрокидывая табуретки, летом пролетел с порога в комнату и сдёрнул одеяло. На койке обнаружилась Катька в объятиях чернявенького мужика. Валька на мгновение застыл, распылив рот, потом, осатанев, вцепился в каткину руку и, что есть силы, потянул. Но сам едва не упал рядом. Вытащить благоверную – пуп сорвать: Катька лишь села, свесив на пол ноги, пьяная вдрабадан, ничего не понимая и заваливая голову со включенными волосами на плечо.

Была Катька в чѐм мать родила, да и мужичок, сосед её, лежал смиренно, словно Адам в раю, пока прикидывался спящим, хоть и приоткрывал настороженно один глаз. Вконец растерянный Валька заканючил, готовый расплакаться:

– Катя, Катенька, вставай! Пойдѐм!..

Мужики побросали карты. Нарочито лениво, нехотя поднялись из-за стола и стали обступать Вальку.

– Гей, пацан! Чи тоби треба?

– Ша, дурни! Ваше ли дило?!

Пожилого плешивого мужичка, видно, «бугра», обнаружившегося на койке у окна, они послушались сразу, поохолонули.

– Уходи, парень! И мадаму свою забирай! Не мы их приводим, сами к нам лезут!

Лесорубы, ухмыляясь, просунули Катьке руки в рукава плаща, пихнули Вальке её халатик, и не успел Сатюков глазом моргнуть, как оказался вместе с Катькой вытолкнутым за двери. В сенцах мало-помалу оклемавшаяся Катька засопротивлялась, стала рваться назад, в темноте расквасила Вальке нос.

– Уйди, сволочь! Салага! Ненавижу! К мужикам хочу!

Сатюков разъярился, глотая горячую юшку, ухватил Катьку за волосы и только так смог выволочь на улицу. С расшатанных гнилых мостков они свалились в придорожную канаву, забарахтались, как кутята. Валька оказался верхом на Катьке, принялся молотить её кулаками. Под ударами Катька лишь мычала, распластавшись в грязи, Валька скоро выдохся. Без сил он упал рядом и, уткнувшись лицом в её увоженный глиной плащ, заревел в голос...

Остальное всё происходило будто в дурном сне или в плотном, застывшем глаза тумане. Мимо проходили люди, что-то говорили, смеялись, указывая пальцами; потом, глубокой ночью, держась друг за дружку, Валька и Катька брели чуть ли не на ощупь по дороге... Очнулся Сатюков в хибарке от яркого солнечного света, бьющего из окна. Был, наверное, полдень. Рядом шевелилась, просыпаясь, Катька. Во вчерашнее не верилось, словно привиделось всё в предутреннем, с «бодуна» кошмаре. Но нет. Катька, едва села на диване, так и застонала, заохала.

– Полюбуйся...

Валька с изумлением, ощущая неприятный ёрзающий холодок по хребту, начал изучать на катькином обнажённом теле проступающие иссиня-зловещие кровоподтеки..

– Благодарю Бога, что пьяная без памяти была. А то сгоряча удавила б...

Валькины исследования прервал его отец, вошедший в незапертую дверь. Молчаливый, грузный, он относился к сыновним похождениям внешне спокойно: хмыкнет, почешет лысину, но словом худым не укорит. Да, видать, и его «достали» валькины любовные утехы. Отец так же, как всегда, молчал, но и цацкаться долго не стал – ухватил Катьку и потащил к выходу. Та, комкая на груди одеяло, завизжала отчаянно. Валька, очнувшись от столбняка, вызванного папашиним появлением, бросился подругу выручать, но отец дал ему такого тычка, что он отлетел и башкой об дверной косяк треснулся.

– Что, дурень, в тюрягу из-за неё, сучки, захотел?! – ругался отец. – Так ведь сядешь, коли шарабан твой пустой она тебе сама не оторвёт! Ей же убить – раз плюнуть! Весь город вчера над вашей дракой потешался!

В помутнённом валькином сознании мелькнул проблеск – ружьишко! Память от деда, в чулане под диваном запрятана! Запросто с папашей не совладать, оплеуху только опять получишь. А тут посмотрим...

Заряжено ружье или нет, стрелять из него собрался или припугнуть только, да и сможет ли оно выстрелить вообще – вместо бойка загнан гвоздь, Валька не смог бы ответить. Сгрёб ружье и – следом за отцом и Катькой на двор: они уже были там. Отец, увидев направленное на него ружейное дуло, побледнев, отшатнулся в сторону, а Катька резко вывернула валькину руку, сжимавшую ружье, вверх. Выстрел бабахнул, оглушив всех, обдав пороховой гарью; с крыши посыпались кусочки прогнившей дранки. Катька, забежав обратно в дом, вышла одетая и торопливо пошагала по улице прочь; Валька же, выронив дымящееся ружье и трясая отшибленной отдачей рукой, помчался вслед.

Она внезапно, около лесхозовского барака остановилась:

– Не ходи за мной больше никогда, понял?! Всё! – заговорила зло. – Поймёшь – почему, когда-нибудь... Я в яме, в дерьме по горло, уже не вылезть, а тебя за собой тянуть не хочу! Живи...

Валька с жалкой глупой улыбкой попытался обнять Катьку, но она отстранилась, жёстко усмехаясь.

– Не понимаешь? Думаешь, сотрясение-то мозгов я, с рундука слетев, заработала? Это хахаль меня попотчевал, горячий попался. Пусть родители твои спасибо скажут, что тебя ещё сберегла, дома у меня показываться запретила... Хотела я, чтоб жизнь-то тебя побила! С моё! Понял бы тогда меня... И перед отцом извинись.

## ГЛАВА 10. ПОБЕГ В ПРОШЛОЕ

С Любкой не видались с проводин в армию. Очутившись на «гражданке», Сатюков о прежних друзьях-приятелях вспоминал редко. Слышал, что Серёжка после «срочной» подался в прапорщики, а Любка-Джон перебралась в райцентр и живёт там с какой-то бабой и тремя ребятишками. Вальку это не удивило – от Джона можно всего ожидать. Когда Валька столкнулся в райцентре с Любкой – и обрадовался, и растерялся. Облапил старую подружку за худенькие острые плечи и тут же испуганно отпустил. Любка, всё такая же, в джинсовом своём костюмчике, поморщила веснушчатый носик и, глянув испытующе на Вальку, видать, заметила в невесёлых глазах его кручину.

– Вино-то пьешь?..

В тесной комнатёнке с грязными ободранными обоями на стенах Любка теперь, должно быть, обреталась. В соседней, ещё меньше, клетушке виднелись двухэтажные, наподобие нар, кровати с кучами тряпья. Под незатейливую скудную закуску «развезло» быстро. Вспоминая былые походы и приключения, Любка и Валька орали, перебивая друг друга, смеялись до колик в брюхе, а когда, наконец, выдохлись, Сатюков, помрачнев, рассказал про Катьку.

– Больше не встречались с ней? – спросила Любка.

– Приходил как-то вечером к ней... Выпить вынесла на крыльцо и закусить, посидела. Ночевать, говорю, останусь. А она – ни в какую! Девчонки, мол, дома спят, положить некуда. Давай лучше к знакомому одному отведу!.. Знакомый каткин, видать, «синяк» ещё тот. На кухне – «батарея» пива. Пей, утоляй жажду. А вот – раскладушка, спи. Катька, вижу, к мужику тому прыг в постель! Подвинься, говорит, припозднилась я, у тебя останусь. Тот рад-радёшенек, замурлыкал, как котище. А через недолго, слышу, и зашабарошились... Я дверью саданул, чтоб они там, падлы, подскочили, сам на улицу и – пёхом до городка!

– Бросила она тебя, – придавила зевок ладошкой Любка.

За столом образовалось затишье, и этим воспользовались трое ребятишек, в щель приоткрытой двери с любопытством изучающих незнакомого гостя, яростно кому-то грозящего кулаком. Ребята шустро подбежали к столу, похватали, что попало под руку; самый меньшей, чавкая набитым ртом, взобрался Любке на ногу и, раскачиваясь, пропищал довольный:

– Папа...

Любка смутилась, грубо стряхнула мальчика:

– Какая я тебе папа... В тюряге твой папа сидит.

– Это что такое? Опять попойка? – в проёме распахнутой двери встала, уперев руки в бока, полная немолодая женщина и пошла крыть Любку почём зря. – Совсем стыд потерял! Деньги пропиваешь, от ребят рвёшь!

– Свой это! – кивнула Любка на Вальку. – Можешь не притворяться.

– По мне хоть свой, хоть пересвой! – не подумала уняться любкина сожительница.

Сатюков счёл за нужное смотаться.

– Я с тобой! – Любка каким-то обманным манером сумела прошмыгнуть мимо своей хозяйки и во весь опор понеслась за Валькой.

– Поехали в городок!

– В городок! – согласилась Любка.

Они, сталкиваясь со встречными прохожими, мчались к автовокзалу, и им, возбуждённым, запыхавшимся виделась бесшабашная счастливая прежняя житуха. Вот только сядь в автобус и...

Позади всё явственней стали слышны крики. Любкиной сожительнице было тяжело бежать, задохнулась вся, пот катил с неё в три ручья, но баба она оказалась упорная: почти догнала, и можно уже было разглядеть её перекошенное злобой лицо. Беглецы, пытаясь оторваться, свернули в проходной двор, рванули глухим проулком, но дама разгадала их замысел и, ещё бы чуть-чуть, перехватила бы на углу. Любка стала ей отвечать на выкрики, потихоньку отставая от Вальки, и вот уже они стояли друг против дружки и спорили. Сатюков, остановившись поодаль, подождал-подождал и, увидев, что бабёнки, по-прежнему переругиваясь, побрели обратно, понуро поплёлся к автобусу.

В городок он возвращался один...

## ИЗ ЖИТИЯ ПРЕПОДОБНОГО ГРИГОРИЯ

Войско, растянувшись длинной змеей, проезжало по узкому настилу моста примолкнув: ратники, хмурясь и обрываясь сердцем, косились на распластанное на льду и похожее на чёрный крест тело чернеца, лежащего с раскинутыми в широких рукавах ряссы руками. Едва скрылись последние шемайкины вояки, из придорожного ельника выбрался Алекса и катом скатился с крутого берега к игумену. Прижав ухо к его груди, вздохнул обрадованно – жив, но затревожился: как бы бесчувственного донести, разбился крепко.

– Достану я Шемяку, дай время! – бормотал Алекса, укладывая бережно Григория в возок. – Измыслю, как антихриста извести.

В обители ожидали воровского нападения, готовились, но кто-то из калик перехожих принёс слух, что половина шемякиной рати, убоявшись игуменского проклятия, рассеялась, и сам князь, с остатками потоптавшись под Вологдой, измученный дурными снами и предчувствиями – осознал, видно, что натворил! – бежал восвояси опять в Устюг.

– Оклемается змий, снова поползёт губить народ православный! – поговаривали в монастыре. – Его, святотатца, и проклятие не удержит.

Пропал куда-то Алекса. Стоя на коленях возле ложа игумена, ещё не пришедшего в себя, пошептал что-то, положил его руку себе на голову, поцеловал и был таков. Григорий, очнувшись, первым делом о нём спросил. Иноки не знали, что и ответить. Игумен же закручинился, так и лежал, не вставая: жизненные остатные силы тихо покидали его. При ясном уме Григорий отдавал последние указы, и обитель вроде бы теплилась прежней своей, непоколебимой ничем, жизнью. Но все ожидали со страхом...

Слух обогнал вернувшегo Алексу. Преставился от неведомой болезни в адских муках и корчах князь Димитрий Шемяка. Все от вести такой вздыхали с облегчением, поспешно и истово крестились, с благодарением поднимали глаза к небу. Алекса пал перед игуменом, тот благословил его с одра слабеющей рукой.

– Грешен я, отче! – заговорил покаянно Алекса. – Удумал, как Шемяку, крестника твоего, извести... К сизарям голубь-чужак прибился. Чёрный, с переливчатым ровно радуга пером, благородных кровей, что ли. Приметил я его и изловил, зная княжой вкус. Добрёл с птицей до Устюг-града и к поварне шемякиной: дескать, заморского голубка в подарок несу и блюдо лакомое из него сготовить разумею. И поперчил ядом, пока повара отворачивались!.. Еле ноги унёс. – Алекса подполз на коленях ещё ближе к игумену и склонился к самому уху, бормоча: – И ещё пуще грешен я, отче!.. Благословение у тебя, беспамятного, тогда взял. Руку твою на главу себе сам возложил...

Григорий зашептал что-то, сиплый прерывистый клёкот его мало кто из обступивших одр иноков смог разобрать:

– Преставляюсь... тело моё нечестивое... ввергните в болото. Достоин того... Бог простит ли...



# ГЛАВА 11. ДЕНЬ ПОМИНОВАНИЯ

## Начало XXI века

Вальке Сатюкову, когда случалось бывать под изрядной «балдой», полюбилось кого-нибудь изображать. Смотря по обстоятельствам. На этот раз, сидя в купе поезда Москва – Череповец и вертя напрапалую головой с изрядно заметным пятакон проплешины – после тридцати засветился, засиял проклятый, будь неладен, ероша чёрную курчавую бороденку, приглядывался Валька, щуря и без того узкие хмельные глаза, к соседям по купе. Две здоровенные, грудастые, широкобёдрые, лет под тридцать бабенции вроде бы увлечённо подтыкали пальцами топающего по сиденью игрушечного робота, а сами с любопытством поглядывали на Вальку. Возле них с краешку лепился паренёк не паренек, мужичок не мужичок, а какой-то хлюст с подбитыми глазами.

С начавшейся дорогой на пассажиров тут же навалилась охота жрать. Там и сям зашуршали разворачиваемые свёртки, забрякали кружки и стаканы, раздалось смачное чавканье: избегавшийся по столице, изголодавшийся люд насыщал чрева свои. Валька, сглотнув голодную слюну, потупя взор, скромненько извлёк бутылочку пивца; мужичок-паренёк напротив, радостно взвизгнув, пустился чуть ли не вприсядку – пышногрудая молодуха рядом с ним закутила «змия» в бутылке с водкой.

– Будете? – заметив голодный отблеск в валькиных глазах, предложила.

На «старые дрожжи» Вальку понесло, одно только исподтишка его грызло: не знал, кем назваться. И он решил с этим погудить. Пышногрудую молодицу звали Катериной, соседку её, габаритами чуток помельче и на личико много дурней, – Любашкой, а спутник поименовался робко Виталиком.

– Муж мой, – с небрежением кивнула на него Катерина.

Разгуляться не успели – загорланила компания в купе рядом. Немолодой, с большим брюхом и вислыми усами, мужичок южной национальности выглянул оттуда, лопоча что-то на ломаном русском, подсунул молодухам «порнушный» журнальчик, и бабёнки, похихикивая, заинтересованно зашелестели страницами. Один за другим Валька с новыми своими знакомыми перекочевали в гости к южанам. Компания там набилась порядочная: около десятка парней. Назвались они готовно не своими мудрёными, а, видно, для удобства, русскими именами, которые, впрочем, Валька тут же забыл. Но не стеснялся, метал в рот всё, что лежало на столике, не перепускал тосты и, нагрузившись, какое-то

время отупело наблюдал за тем, как кучерявый смуглолицый то ли Вася, то ли Миша исподоволь придавливал в углу Катерину. Муж Виталик, смежив подбитые очи, смиренно подрёмывал. Любашка с кем-то уже затерялась в лабиринтах полупустого вагона.

Катерина, резким движением освободив плечи от рук ухажёра, подмигнув Вальке, стала подниматься с места. Кавалер забурчал недовольно, но молодуха присела и выразительно посвистела губами. Сатюков же смылся минутой раньше и поджидал Катерину в тамбуре. Получилось как-то без слов: она прикурила, но тут же, бросив сигарету, прижалась к Вальке. Он поймал её горячие губы, присосался жадно: эх-ма, была не была, дело холостое! Да и женатик вряд ли устоял, но вот беда – где? Не на полу же тамбура, заплёванном и грязном. В вагоне нетрудно отыскать свободное купе, жаль вагон плацкартный. Понесёт нелегкая кого-нибудь в нужник... Валька дал волюшку рукам, шарил по упругоподатливому телу Катерины, но дальше действовать не решался. «Осрамлюсь ещё...» – прислушивался он к состоянию собственного организма и находил его неутешительным: сказались былые пьяночки-гуляночки. Катерина, шумно и жарко дышавшая, затихла – догадалась о валькиных неполадках или ещё что подумала.

– Ты сам-то кто? – спросила, однако из объятий высвободиться не торопилась.

Сатюков проямлил первое взбрешее на ум: не до игры в кого.

– Из вояк я... Из отставных.

– Не похож что-то. Вид у тебя не солдафонский. Женат?

– Был вроде...

– Значит, тоже не повезло... И мы, вон, с Виталиком тоже в разводе, только живём вместе. Поболтается черт-те знает где, попьанствует и ползёт домой, пёс шелудивый. Еле живой. И выгоняла его, и била, а потом опять жалела. Сына родила уж лет через пять после свадьбы: из Виталика мужик никакой. Теперь вроде как отцом записан... Да из одной торговли ушла в другую – «челночу». Он компаньон для повады, худой ли хороший.

Валька, раскиснув возле тёплого бабьего бока, к рассказу попутчицы не больно и прислушивался, думая о своём... Что-то припомнилась ему давняя любовь Катька-Катюха, чем-то похожая на эту чужую женщину, нашёптывающую на ухо про своё горе-печаль...

Опять зашевелились южане, тянувшие вполголоса свою заунывную песню. Прикорнувший в уголке пузатенький смуглячок проснулся, забегал по полуночному вагону, видать, в поисках попутчиц. Заметив в тамбуре Катерину с Валькой, закрытился

около них, затеребил за рукава, приглашая. Откуда-то, из соседнего вагона наверно, вывернулась сияющая довольная Любашка с кавалером. Растолкали, подняли с пола даже Виталика. Он сел, повесивши головушку, но звяк железных кружек сразу привёл его в чувство. С тостами дело не заладилось: всё было высказано вначале, повыдохлись. «Абреки» пытались лопотать, путая свои и русские слова; Катерина поморщилась, вздохнула – веселье её больше не забирало. Она подняла со столика кружку с вином, скосив глаза на Сатюкова, предложила:

– Давайте помянем тех, кого с нами нет... За усопших! Слышала от бабок на перроне, что Лазарева суббота сегодня, поминают всех.

Южане поняли, посерьёзтели, зацокали языками.

– Не чокаются...

Валька, медленно вытянув содержимое кружки, в возникшем в купе молчании прикрыл глаза... Помянем!

...Старик Зерцалов умер в городском саду на другой же вечер после поездки в Лопотово. Громыхала музыка на танцплощадке, орали что-то «импортное» местные дарования, так же заморожено лепился к барьеру разношёрстный народишко, а старик, стоя в потёмках у вековой липы, вдруг схватился рукою за сердце и медленно сполз по шершавой коре дерева. Пока не рассвело, и не подошёл никто, думали – лежит какой пьяный, так и пусть себе валяется. Обо всём этом рассказывал расстроенный, чуть не плачущий Бешен, и Вальке тоже не по себе стало, он трусливо отвёл глаза, чтобы не встретиться с сашкиным осуждающе-праведным взором.

– Пойдём в церковь, помолимся за упокой души! – предложил Сашка.

Валька покорно поплёлся за ним. В храме за службой стояло немного народу, без толкотни и тесноты, как в праздничный день. Бешен подвел Вальку к большой старинной иконе.

– Преподобный Григорий! – пояснил шепотом. – Покойный Василий Ефимович его наравне со своим ангелом-хранителем почитал. Затепли-ка свечечку!

Валька обжёг неосторожным движением пальцы об огонёк, охнул и, взглядевшись в потемневший от времени лик на иконе, отпрянул – глаза старца в чёрном смотрели строго и осуждающе. Сатюков, боясь ещё взглянуть, попытался разобрать клейма-картинки вдоль бортика иконы: монах, водружающий крест на речном берегу, тот же чернец возле церковки, а вот какие-то воины с обнажёнными мечами окружили его, стоящего с воздетыми руками... Жаль, не всё можно было разобрать.

Валька, всё ещё в смущении, отошёл, стараясь ступать неслышно, с беспокойством искал Бешена. Сашка возле царских врат напротив иконы Богородицы стоял на коленях и клал земные поклоны. Служба, должно быть, подошла к концу: вышел с крестом батюшка, благословил всех, и Сашка первым приложился к кресту. У выхода из церкви Бешена обступили старушки, даже Вальку, попытавшегося протиснуться к нему, оттерли.

– Помолись за нас, грешных! – Сашке совали и пирожок, и пряничек, и денежку, но Бешен отказывался от даров.

– Дурак! Дают – бери, бьют – беги! – снизу, с паперти, заворчал раздражённо Ваня Дурило.

Напротив него сидел, задрав белёсую бородёнку и раскачивая растопыренной пятерней, Свисточек. День, видать, у убогих выдался некормный.

– Приходи, слышишь, сюда! Особенно когда худо будет, – бормотал по дороге домой Сашка. – У Григория преподобного постоишь, в беде не оставит...

Валька, представив суровый лик на иконе, зябко передёрнул плечами и успокоил себя тем, что заходить-то долго наверняка не придётся – не понадобится. Бешена он видел в последний раз. За зиму как-то встречаться больше не приходилось, а весной, в ледоход, услышал – погиб Сашка. От церкви брели они с Дурилом и Свисточком и, как обычно, срезая путь, полезли через речку, не по мосту. Бешен шёл первым; напарники его, прикуривая, задержались на берегу. Сашка ухнул в промоину, проорал, и пока Ваня с Веней бестолково бегали по берегу, течение, быстрое в этом месте, утянуло Бешена под лед. Но ходила упорно в городке и другая версия: убогие сами спихнули Сашку в полынью и потом преспокойно ждали, пока он, орущий, уйдёт на дно. Дескать, завидовали тебе мы, а теперь ты нам позавидууй...

Вспомнился Сатюкову и Кукушонок, в драке заваливший на смерть ножом кавказца. Славные городковцы в ужасе притихли, ожидая массовых актов кровной мести, но ничего не последовало. Лаврушка загремел на «червонец» в тюрягу и вскоре сгинул там, а откуда-то сверху пришёл грозный приказ: в техникум «инородцев» не брать! Так сошёл на нет «великий эксперимент»...

...Вальку кто-то тронул за плечо.

– Выходим скоро, – сказала Катерина, попутчица.

– Давай на посошок! – заторопился Сатюков, разливая вино по кружкам.

И через полчаса он смотрел на идущих уже по перрону бывших попутчиков. Катерина с напарницей через силу волокли большущие, набитые шмотками сумки; Виталик налегке едва брёл следом. Он поскользнулся, упал в растяжку, голос подал. Катерина, бросив сумки, подняла его и стала отряхивать, как малого ребёнка, поглядывая виновато и, кажется, с сожалением на прилепившего нос к оконному стеклу Вальку. Поезд тронулся, и она поспешно помахала рукой...

Сатюков просидел до своей станции, уставясь в одну точку. И в рейсовом автобусе до городка не смог он растрясти тоску; лишь в родных «палестинах», встретившись с двоюродником Серёгой, без малого двадцать лет прослужившим «куском» в армии и выкинутым за ненадобностью по сокращению, удалось слегка развеяться. Братаны пошли по «веселеньким» местам: проще – притонам, коих в городке, наполовину безработном, развелось немало и где, ежели имеешь денежку, тебя всегда встретят и приветят. Выпитое что-то плохо «забирало» проспиртованный за последние годы валькин организм, тяжело только, давило нехорошим предчувствием на сердце. Перед глазами часто вставали попутчица Катерина и вцепившийся ей в рукав молоденький сожитель.

«Тормознулись» друзья-приятели на квартирке у одного бывшего зека; на огонёк и тройка бабёнок заглянула. Бабы такие обрюзгшие и опустившиеся, что выпить-то с ними ещё можно, но чтоб дальше чего – сам побоишься... Незнакомая и, значит, не местная тоже была с ними одного поля ягода, но маленько посвежее, и у Вальки вроде интереса к ней шевельнулось:

– Откуда ты?

– Из райцентра.

Сатюков, конечно же, сразу поинтересовался, не знает ли она Катьку Солину.

– Эту-то стервозу?! – бабёнка вдруг торжествующе-злорадно расхохоталась. – Знала. Вчерась, в Лазареву субботу, от водки травленной издохла.

– Врёшь?!

– Соседка ейная говорила, не даст соврать... Закапывать собирались.

У Вальки перехватило горло: где-то в дороге он сидел и пил, сначала дурачась, а потом и за помин душ усопших, и не ведал, что Катька в это время крутилась, орала от разгоравшегося внутри утробы огня и под утро испустила дух. Сатюков, сжав голову руками, забился в крохотную кухоньку, сдавленное его горло пробили рыдания, и он заревел в голос.

– Катька-а...

Кто-то подходил, бормотал что-то, пытаюсь утешить, гладил по плечам, кто-то хмыкал недоуменно:

– Нашёл, придурок, из-за кого расстраиваться?! Из-за проститутки! Да её все мужики в городе...

Утром, едва рассвело, Валька, пошатываясь, побрёл в церковь. Накануне праздновали вербное воскресение, и ветки вербы с распускавшимися мохнатыми шишками, покроплённые святой водой, были повсюду. В храме безлюдье, стыла тишина. Сатюков, взяв на оставшиеся гроши свечечку, затеплил её перед иконой преподобного Григория и из последних сил стоял перед ней – оборванный, грязный, чуть живой. Но никто не выгонял его прочь. Глаза с иконы смотрели теперь, утешая, с сочувствием и теплотой.

*г. Вологда*